



И Р В И Н

Ш О У

*СОЛНЕЧНЫЕ БЕРЕГА
РЕКИ ЛЕТЫ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Ирвин Шоу

**Солнечные берега
реки Леты (сборник)**

«АСТ»

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Шоу И.

Солнечные берега реки Леты (сборник) / И. Шоу — «АСТ»,
— (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-097360-6

В этот сборник вошли лучшие рассказы Ирвина Шоу — «Бог был здесь, но уже ушел», «Девушки в летних платьях», «Зеленая ню», «Тогда нас было трое», «Обитатели Венеры» и другие. Печальные и ироничные, лиричные и язвительные, но неизменно отмеченные удивительным знанием человеческой души. Темы этих рассказов относятся к разряду вечных — любовь и дружба, измена и предательство, одиночество в толпе, высокая цена, которую приходится платить за успех, сложные отношения мужчин и женщин.

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-097360-6

© Шоу И.
© АСТ

Содержание

Девушки в летних платьях	6
Я искал тебя, искал	12
Судьбы наших детей	17
Зеленая ню	22
Солнечные берега реки Леты	37
Как принято во Франции	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Ирвин Шоу

Солнечные берега реки Леты

Irwin Shaw: SHORT STORIES: FIVE DECADES

Печатается с разрешения наследников автора и литературных агентств The Sayle Literary Agency, UK, и The Marsh Agency Ltd.

© Irwin Shaw, 1939, 1942, 1946, 1950, 1957, 1961, 1964, 1965, 1967, 1973

© Перевод. В.А. Вебер, 2001

© Перевод. Ю.Г. Кирьяк, 2001

© Перевод. В.И. Баканов, 2016

© Перевод. А.Е. Герасимов, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Девушки в летних платьях

Пятая авеню купалась в солнечном свете, когда они вышли из «Бревурта» и зашагали к Вашингтон-сквер. Несмотря на ноябрь, солнце еще грело, и выглядело все как летним утром: автобусы, хорошо одетые люди, неспешно прогуливающиеся парами, тихие дома с закрытыми ставнями.

Майкл крепко держал Фрэнсис под руку. Шагали они легко, улыбаясь: воскресенье, они хорошо выспались и плотно позавтракали. Майкл растегнул пальто, подставил лицо легкому ветерку. Они шли молча, среди молодых красивых людей, которые, похоже, составляли большинство в этом районе Нью-Йорка.

– Осторожно, – нарушила молчание Фрэнсис, когда они пересекали Восьмую улицу, – не сверни шею.

Майкл рассмеялся, Фрэнсис последовала его примеру.

– Не такая уж она и красивая, – добавила Фрэнсис. – Во всяком случае, ради ее красоты нет смысла ломать шею.

Майкл рассмеялся вновь. На этот раз громче.

– Но и не страшная. У нее отличный цвет лица. Как у деревенской девушки. Как ты поняла, что я смотрю на нее?

Фрэнсис склонила голову набок, улыбнулась мужу из-под полей шляпки:

– Майкл, дорогой...

Майкл опять хохотнул:

– Ладно, улики неопровержимые. Извини. Все дело в цвете лица. Такая кожа в Нью-Йорке – редкость. Извини.

Фрэнсис легонько похлопала его по руке и увлекла к Вашингтон-сквер.

– Такое хорошее утро! Прекрасное утро! Когда я завтракаю с тобой, то получаю заряд хорошего настроения на целый день.

– Тоник. Утренняя зарядка. Кофе и рогалики с Майклом – и прилив бодрости гарантирован.

– Вот именно. Опять я проспала всю ночь, обвинившись вокруг тебя, как веревка.

– Ночь с субботы на воскресенье, – уточнил он. – Я разрешаю такие вольности только по окончании рабочей недели.

– Ты толстеешь.

– Неужели? Из Огайо я приехал стройным, как тополь.

– Мне они нравятся, пять твоих лишних фунтов.

– Мне тоже.

– У меня есть идея, – промурлыкала Фрэнсис.

– У моей жены есть идея. Какая прелесть!

– Давай проведем этот день вдвоем. Ты и я. Мы всегда вертимся среди друзей, пьем их виски, или они пьют наше виски, а друг друга мы видим только в постели...

– Великое место встреч, – улыбнулся Майкл. – Оставайся в постели достаточно долго, и все, кого ты знаешь, обязательно там появятся.

– Мудрец. Я говорю серьезно.

– Отлично. И я слушаю серьезно.

– Я хочу провести с мужем весь день. Хочу, чтобы он говорил только со мной и слушал только меня.

– Так кто посмеет нас остановить? – спросил Майкл. – Кто собирается помешать мне общаться в это воскресенье исключительно с женой? Кто?

– Стивенсоны. Они желают, чтобы мы заглянули к ним в час дня, а потом собираются отвезти нас за город.

– Паршивые Стивенсоны. За город они могут поехать и одни. Моя жена и я намереваемся остаться в Нью-Йорке и провести этот день вдвоем.

– Ты приглашаешь меня на свидание?

– Я приглашаю тебя на свидание.

Фрэнсис приподнялась на цыпочки и поцеловала мужа в мочку уха.

– Дорогая, это же Пятая авеню, – запротестовал Майкл.

– Давай наметим программу. – Фрэнсис пропустила его слова мимо ушей. – Как может провести воскресенье в Нью-Йорке молодая пара, у которой есть возможность сорить деньгами?

– Но без излишеств, – уточнил Майкл.

– Сначала пойдем на футбол. На матч профессионалов. – Фрэнсис знала, что Майкл любит футбол. – Сегодня играют «Гиганты». В такой день приятно побыть подольше на свежем воздухе, как следует проголодаться, пойти в «Кавану», съесть стейк размером с фартук кузнеца, запить его бутылкой вина. А оттуда прямая дорога в «Филмарт», там показывают новый французский фильм, и все говорят... эй, ты меня слушаешь?

– Конечно, – ответил он, отводя взгляд от девушки без шляпы, с короткой стрижкой, которая прошла мимо с грациозностью танцовщицы. Пальто она не надела, так что Майкл отметил ее плоский, как у юноши, живот и бедра, которые так и ходили из стороны в сторону. Во-первых, потому, что она была танцовщицей, а во-вторых – потому, что перехватила его настойчивый взгляд. Девушка улыбалась чему-то своему. Майкл заметил все это до того, как повернулся к жене. – Конечно. Мы пойдем на матч «Гигантов», мы съедим стейк, а потом посмотрим французский фильм. Как тебе это нравится?

– Звучит неплохо, – сухо ответила Фрэнсис. – Программа на целый день. А может, ты предпочел бы прогуливаться по Пятой авеню?

– Нет, – без запинки ответил Майкл. – Ни за что.

– Ты всегда и везде смотришь на других женщин. Оглядываешь каждую женщину в Нью-Йорке.

– Да перестань. – Майклу хотелось обратить все в шутку. – Только на симпатичных. Сколько, в конце концов, симпатичных женщин в Нью-Йорке? Семнадцать?

– Больше. Во всяком случае, на твой вкус. Ты их находишь везде.

– Это неправда. Иной раз я, возможно, действительно смотрю на проходящую мимо женщину. На улице. Признаю, на улице я, случается, смотрю на...

– Везде, – повторила Фрэнсис. – В каждом месте, куда мы приходим. В ресторанах, в поездах подземки, в театрах, на лекциях, на концертах.

– Послушай, дорогая, – попытался урезонить жену Майкл, – я смотрю на все. Бог дал мне глаза, и я смотрю на женщин и мужчин, на котлованы для новых линий подземки, на экран кинотеатра и на маленькие цветочки на полях. Я изучаю окружающий мир.

– Тебе бы увидеть блеск, который появляется в твоих глазах, когда ты изучаешь окружающий мир на Пятой авеню.

– Я женат и счастлив в семейной жизни. – Он нежно прижал к себе руку Фрэнсис. – Пример для всего двадцатого столетия, мистер и миссис Майкл Лумис.

– Ты серьезно? Ты *действительно* счастлив в семейной жизни?

– Абсолютно, – ответил Майкл, чувствуя, как меркнет воскресное утро. – Почему ты так говоришь со мной?

– Просто хотела знать. – Фрэнсис прибавила шаг, глядя прямо перед собой. Лицо ее превратилось в бесстрастную маску. Так бывало всегда, когда у нее портилось настроение.

– Я абсолютно счастлив в семейной жизни, – терпеливо повторил Майкл. – Мне завидуют все мужчины Нью-Йорка в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет.

– Оставь свои шуточки.

– У меня прекрасный дом, – гнул свое Майкл. – У меня прекрасные книги, фотографии, друзья. Я живу в городе, который мне нравится, и живу так, как мне хочется. У меня работа, которая мне нравится. У меня жена, которую я люблю. Если происходит что-то хорошее, разве не к тебе я бегу с доброй вестью? Если случается что-то плохое, разве я плачу не на твоём плече?

– Да, – кивнула Фрэнсис. – И ты смотришь на каждую женщину, которая проходит мимо.

– Ты преувеличиваешь.

– На каждую женщину. – Фрэнсис убрала руку с локтя Майкла. – Если она страшненькая, ты тут же отводишь взгляд. Если ничего, смотришь на нее, пока не сделаешь семь шагов...

– Господи, Фрэнсис!

– Если красивая, разве что не сворачиваешь себе шею.

– Слушай, давай выпьем. – Майкл остановился.

– Мы только что позавтракали.

– Послушай, дорогая, – сказал Майкл медленно, тщательно подбирая слова. – Выдался славный денек, мы оба в хорошем настроении, и нет никакого смысла все портить. Давай проведем воскресенье в свое удовольствие.

– Я могу провести воскресенье в свое удовольствие только в том случае, если в твоём взгляде не будет сквозить желание бежать за каждой юбкой на Пятой авеню.

– Давай выпьем, – повторил Майкл.

– Я не хочу пить.

– А чего ты хочешь, поссориться?

– Нет. – Голос у Фрэнсис был такой несчастный, что Майкл тут же проникся к ней жалостью. – Я не хочу ссориться. Не знаю, что на меня нашло. Давай поставим точку. И постараемся хорошо провести время.

Они вновь взяли за руки и молча пошли мимо детских колясок, стариков итальянцев в воскресных костюмах и молодых женщин.

– Я надеюсь, сегодня будет интересная игра. – Фрэнсис прервала затянувшуюся паузу, стараясь говорить непринужденно, как за завтраком и в начале прогулки. – Мне нравится профессиональный футбол. Эти ребята колотят друг друга так, словно сделаны из бетона. А как они бросаются друг другу в ноги! Это очень возбуждает.

– Я хочу кое-что сказать тебе, – очень серьезно заявил Майкл. – Я не прикасался ни к одной женщине. Ни разу. За все пять лет.

– И хорошо.

– Ты мне веришь?

– Конечно.

Они шли по парку Вашингтон-сквер, под раскидистыми деревьями, между скамейками, на которых не было свободных мест.

– Я стараюсь этого не замечать. – Фрэнсис словно говорила сама с собой. – Стараюсь убедить себя, что это ничего не значит. Некоторым мужчинам это нравится, говорю я себе, они хотят видеть то, чего лишены.

– Некоторым женщинам это тоже нравится, – ответил Майкл. – В свое время я знал пару дамочек...

– Я не смотрела ни на одного мужчину после второго свидания с тобой, – прервала его Фрэнсис.

– Нет такого закона, – заметил Майкл.

– У меня все переворачивается внутри, когда мы проходим мимо женщины и ты смотришь на нее так, как смотрел на меня при нашей первой встрече у Элис Максвелл. Ты стоял в гостиной, рядом с радиоприемником, в зеленой шляпе...

– Шляпу я помню, – ввернул Майкл.

– Тем же взглядом. Меня от этого мутит. Мне становится нехорошо.

– Ну что ты, дорогая...

– Я думаю, теперь можно и выпить.

Они направились к бару на Восьмой улице. Майкл застегнул пальто и бросил задумчивый взгляд на свои хорошо начищенные коричневые туфли, когда они поднимались по ступеням к двери. Они сели у окна, в которое лились солнечные лучи. У дальней стены трещали дрова в камине. Подошел японец-официант, поставил на стол блюдо с претцелями¹ и широко им улыбнулся.

– Что положено заказывать после завтрака? – спросил Майкл.

– Думаю, коньяк, – ответила Фрэнсис.

– «Курвуазье», – попросил Майкл. – Два «Курвуазье».

Официант принес бокалы, и они пили коньяк, сидя в ярком солнечном свете. Майкл прикончил половину, запил водой.

– Я смотрю на женщин, – признал он. – Все так. Я не говорю, хорошо это или плохо, но я на них смотрю. Если я прохожу мимо по улице и не смотрю на них, я обманываю тебя, обманываю себя.

– Ты смотришь на них так, словно хочешь ими обладать. – Фрэнсис вертела бокал. – Каждой.

– В определенном смысле, – Майкл говорил тихо, словно обращался не к жене, – в определенном смысле это правда. Но за этим ничего не следует, и это тоже правда.

– Я знаю. Поэтому меня и мутит.

– Еще коньяка! – крикнул Майкл. – Официант, еще два коньяка.

– Почему ты причиняешь мне боль? – спросила Фрэнсис. – Зачем ты это делаешь?

Майкл вздохнул, закрыл глаза, осторожно потер веки пальцами.

– Мне нравится смотреть на женщин. Больше всего я люблю Нью-Йорк за то, что его наводняют батальоны женщин. Когда я впервые приехал сюда из Огайо, то сразу их заметил, миллион прекрасных женщин, шагающих по городу. Я ходил среди них, и сердце выпрыгнуло у меня из груди.

– Детство, – прокомментировала Фрэнсис. – Это детское чувство.

– Не уверен, – покачал головой Майкл. – Не уверен. Я стал старше, уже на подходе к среднему возрасту, начал толстеть, но все равно люблю ходить по Пятой авеню в три часа дня, по восточной стороне, между Пятидесятой и Пятьдесят седьмой улицами. Они все там, вроде бы ходят по магазинам, в мехах и этих безумных шляпках, будто собрались со всего мира в этих восьми кварталах. Там лучшие меха, там лучшие одежды, там самые красивые женщины. Они выходят из дома, чтобы потратить деньги, и очень этим довольны. Когда ты проходишь мимо, они холодно смотрят на тебя, всем своим видом демонстрируя, что ты для них не существуешь.

Японец-официант поставил на стол два бокала, лучась от счастья.

– Все хорошо? – осведомился он.

– Все прекрасно, – ответил Майкл.

– Если пара шуб и шляпки за сорок пять долларов... – начала Фрэнсис.

¹ Претцель – сухой кренделек, посыпанный солью, популярная закуска. – *Здесь и далее примеч. пер.*

– Дело не в шубах. И не в шляпках. Просто там какая-то особенная атмосфера. Знаешь, тебе не обязательно все это слушать.

– Я хочу послушать.

– Мне нравятся девушки из офисов. Аккуратненькие, в очечках, умненькие, деловые, знающие все и всех, умеющие постоять за себя. – Он смотрел на людей, которые медленно проходили мимо окна. – Мне нравятся девушки на Сорок четвертой улице, которых я вижу во время ленча, актрисы, одетые абь как, разговаривающие с молодыми людьми, демонстрирующие свою молодость и красоту у «Сарди» в ожидании, когда какой-нибудь продюсер обратит на них внимание. Мне нравятся продавщицы в «Мейсис», которые прежде всего обслуживают тебя, потому что ты мужчина. Они заставляют женщин ждать, флиртуют с тобой рядом с носками, книгами, иглами для фонографа. Все это копилось во мне десять лет, и теперь, после твоего вопроса, выплыло наружу.

– Продолжай.

– Когда я думаю о Нью-Йорке, я думаю обо всех его женщинах – еврейках, итальянках, ирландках, польках, китайках, немках, негритянках, испанках, русских, фланирующих по городу. Я не знаю, то ли я такой особенный, то ли это чувство свойственно всем мужчинам, но у меня такое ощущение, что в этом городе я нахожусь на бесконечном пикнике. Мне нравится сидеть рядом с женщинами в театре, быть рядом с красотой, на которую потрачено никак не меньше шести часов. Мне нравятся раскрасневшиеся девушки на футбольных матчах, а когда потеплеет, девушки в летних платьях... – Он допил коньяк. – Такая вот история. Ты сама напросилась, не забывай. Я ничего не могу с собой поделать и смотрю на них. Просто ничего не могу с собой поделать и хочу их.

– Ты их хочешь, – повторила Фрэнсис лишенным эмоций голосом. – Это твои слова.

– Точно, – жестко ответил Майкл, потому что она заставила его раскрыть душу. – Ты затронула эту тему, так что давай досконально ее обсудим.

Фрэнсис допила коньяк, два или три раза сглотнула.

– Ты говоришь, что любишь меня?

– Я люблю тебя, но при этом хочу их. Такой вот расклад.

– Я тоже красива. Не хуже любой из них.

– Ты прекрасна, – без малейшей иронии ответил Майкл.

– Я о тебе забочусь. – В голосе Фрэнсис слышалась мольба. – Я стала хорошей женой, хорошей хозяйкой, хорошим другом. Я делаю для тебя все.

– Я знаю. – Майкл накрыл ее руку своей.

– Если ты хочешь свободы...

– Ш-ш-ш.

– Скажи правду. – Она убрала руку.

Майкл щелкнул пальцем по краю бокала.

– Хорошо. Иной раз мне хочется стать свободным.

– Ну... – Фрэнсис забарабанила по столу. – Мы можем раз...

– Не говори глупостей. – Майкл пододвинул к ней стул, погладил по бедру.

Она начала тихонько плакать, уткнувшись в платок, чтобы никто не заметил.

– Наступит день, когда ты от меня уйдешь.

Майкл молчал. Смотрел на бармена, который неспешно резал лимон.

– Уйдешь? – повторила Фрэнсис. – Отвечай. Не молчи. Уйдешь?

– Возможно. – Майкл отодвинулся. – Откуда мне знать?

– Ты знаешь, – настаивала Фрэнсис. – Не так ли?

– Да, – после короткой паузы ответил Майкл. – Знаю.

Фрэнсис перестала плакать. Еще пару раз всхлипнула, убрала платок, на лице не осталось и слезинки.

– По крайней мере ты можешь сделать мне одно одолжение.

– Конечно.

– Перестань говорить в моем присутствии о том, как красива та или иная женщина. «Милые глазки, аппетитная попка, отличная фигурка, хороший голос», – передразнила она Майкла. – Держи все это при себе. Меня твое мнение на этот счет не интересует.

– Извини. – Майкл махнул рукой официанту. – Отныне буду держать свое мнение при себе.

Фрэнсис искоса взглянула на него.

– Еще коньяка, – попросила она официанта.

– Два коньяка, – уточнил Майкл.

– Да, мэм, да, сэр. – Официант затрусил к стойке.

Фрэнсис холодно посмотрела на мужа.

– Ты хочешь, чтобы я позвонила Стивенсонам? За городом сегодня чудесно.

– Да, – кивнул Майкл. – Позвони им.

Она поднялась и направилась в глубь бара к телефонной будке. Майкл не отрывал от нее взгляда, думая, какая хорошенькая женщина, до чего красивые ноги.

Я искал тебя, искал

Когда он наконец встретил ее, то узнал не сразу. Полквартала шел следом, видя перед собой лишь женщину с длинными ногами, в пальто свободного покроя, какие носят студентки, и шляпке из коричневого фетра.

Но внезапно память отреагировала на ее походку: прямая спина, неподвижные шея и голова, волнующее покачивание бедер. Так ходят женщины на Юге и мексиканки, испанки с корзинами на голове.

Еще какое-то мгновение он наблюдал, как она идет по солнечной стороне, направляясь к Двенадцатой улице, потом догнал и коснулся ее руки.

– Низкие каблуки. Вот уж не ожидал, что доживу до такого дня.

Она с удивлением обернулась, затем ее лицо осветила широкая улыбка, она взяла его под руку.

– Привет, Пол. Я пошла на это ради здоровья.

– Когда я думаю о тебе, то вижу тебя на самых высоких каблуках в Нью-Йорке.

– Все в прошлом, – ответила Гарриет. Они медленно шли по освещенной солнцем улице, рука об руку, к Шестой авеню. – Тогда я была очень фривольным созданием.

– Но походка у тебя та же. Словно ты несешь на голове корзину с бельем.

– Я отрабатывала эту походку шесть месяцев. Ты и представить себе не можешь, какое я привлекаю внимание, когда вхожу в комнату.

– Очень даже представляю. – Пол не сводил с нее глаз. Те же черные волосы, бело-снежная кожа, стройная фигура, темно-серые, всегда, даже после трехдневной пьянки, сверкающие глаза.

Гарриет запахнула пальто и чуть прибавила шаг.

– Я иду в «Уонамейкерс». Мне надо кое-что купить. А куда идешь ты?

– В «Уонамейкерс», – без запинки ответил Пол. – Уже три года мечтаю побывать в «Уонамейкерсе».

Какое-то время они шли молча, Гарриет по-прежнему держала его под руку.

– Легкомысленно, – нарушил паузу Пол. – Готов спорить, на взгляд постороннего человека, мы ведем себя легкомысленно. Каково твоё мнение?

– Легкомысленно. – Она убрала руку.

– Пожалуй. – Он остановился, критически оглядел Гарриет. Остановилась и она, повернулась к нему, губы искривила улыбка легкого недоумения. – Почему ты так одеваешься? Увидев тебя, я сразу вспомнил утро понедельника в Нортхэмптоне.

– Схватила то, что лежало под рукой. Спешила.

– Обычно ты выглядела, как большая красивая коробка сладостей. – Пол взял ее за руку, и они двинулись дальше. – Венских конфет. Каждая в своей обертке, в своем бархатном гнездышке. Даже если ты шла в угловой магазин за пинтой джина, то всегда одевалась так, что тебя хотелось съесть на десерт. Не могу сказать, что это изменение к лучшему.

– У женщин бывают разные периоды в одежде. Как у Пикассо, – ответила Гарриет. – Если б я знала, что встречу тебя, оделась бы по-другому.

Пол похлопал ее по руке:

– Так-то лучше.

Они шли, а Пол не отводил от нее взгляда. Знакомое удлиненное лицо, очень знакомые губы, как всегда с избытком помады, маленькие зубки, отчего, улыбаясь, она вдруг превращалась в ученицу воскресной школы.

– Ты худеешь, Пол, – заметила Гарриет.

Пол кивнул:

– Я подтянут, как спортсмен. Веду аскетическую жизнь. А как ты?

– Я вышла замуж. – Она помолчала. – Ты слышал, что я вышла замуж?

– Слышал, – кивнул Пол. Они переходили Шестую авеню, и им пришлось прибавить шаг, потому что зеленый свет сменился красным. – Вечером девятого января сорокового года тебя не было дома.

– Возможно. Я теперь большая девочка. Случается, выхожу куда-нибудь по вечерам.

– Я шел мимо и заметил, что в твоих окнах не горит свет. – Они повернули к Девятой улице. – Помню, какая жара царила в твоей квартире. словно в теплице для далей в ботаническом саду.

– Я мерзлячка, – со всей серьезностью ответила Гарриет. – Сказывается массачусетское происхождение.

– А больше всего мне нравилось то, что ты никогда не ложилась спать.

– У каждой дамы свои достоинства. Одни красивы, другие умны... я... я никогда не ложилась спать. В этом секрет моей популярности.

Пол улыбнулся:

– Замолчи.

Улыбнулась и Гарриет, они дружно рассмеялись.

– Ты знаешь, о чем я. Я звонил тебе в два, в три часа ночи, и ты тут же открывала дверь, бодрая, со сверкающими глазами, с румянами и тенями...

– В молодости я очень быстро восстанавливала силы.

– Утром мы завтракали под Бетховена. Час классической музыки на радиостанции «Нью-Йорк-Сити». Бетховен, по специальному указанию мэра, с девяти до десяти утра.

Пол на мгновение закрыл глаза. Открыл их, чтобы вновь посмотреть на женщину, когда-то близкую ему, теперь почти незнакомку, которая легко шла рядом. Он вспомнил, как в полудреме лежал когда-то с ней, глядя на огни на крышах небоскребов, светящиеся в темноте ночного города, от которого их ограждало большое окно спальни, а однажды во сне она потерла рукой его шею там, где волосы торчали и кололись, потому что днем он как раз подстригся. Гарриет терлась против шерсти, улыбаясь, сонная, не открывая глаз. «Какое восхитительное создание – мужчина...» – прошептала она. Потом вздохнула, рассмеялась и вновь глубоко заснула, ее рука так и осталась на шее Пола.

Пол улыбнулся, вспоминая.

– Ты все смеешься над моей одеждой?

– Вспомнил вот фразу, которую где-то слышал... – ответил Пол. – «Какое восхитительное создание – мужчина...»

Гарриет холодно посмотрела на него:

– И кто это сказал?

Пол бросил на нее короткий взгляд:

– Освальд Шпенглер.

– Угу, – кивнула Гарриет. – Знаменитая цитата.

– Особенно если произнесена к месту.

– И я того же мнения. – Гарриет чуть прибавила шаг.

Они миновали маленький бар, в котором когда-то коротали долгие зимние вечера, пили мартини, говорили, говорили, говорили и смеялись так громко, что на них оборачивались люди, сидевшие за соседними столиками. Пол ждал, что Гарриет что-нибудь скажет об этом баре, но она его и не заметила.

– Это же бар «У Эдди». – Он взял инициативу на себя.

– Угу, – кивнула Гарриет.

– Когда там заканчивался французский вермут, в мартини добавляли херес.

– Какая гадость, – скорчила гримаску Гарриет.

– Это все, что ты можешь сказать? – На лице Гарриет отразилось искреннее недоумение, но Пол и раньше никогда не мог понять, лжет она или говорит правду, и за два года ничего не изменилось. – Не надо ничего говорить. Давай зайдем, и я угощу тебя выпивкой.

– Нет, благодарю. Мне надо успеть в «Уонамейкерс» и вернуться домой. Рассиживаться в баре некогда.

– Как скажешь, – надулся Пол.

Они повернули на Девятую улицу, направились к Пятой авеню.

– Я знал, что обязательно встречу тебя, – продолжил Пол. – Мне хотелось знать, как это будет выглядеть.

Гарриет не ответила. Она разглядывала дома на противоположной стороне улицы.

– У тебя отсох язык? – полюбопытствовал Пол.

– И как это выглядело?

– Время от времени я встречаю девушку, которую знал.

– Готова спорить, в Нью-Йорке их пруд пруди.

– В Нью-Йорке полно девушек, которые когда-то с кем-то встречались.

Гарриет кивнула:

– Я как-то об этом не думала, но ты, безусловно, прав.

– Всякий раз я удивляюсь себе. Какая, однако, хорошая девушка! Ну почему я с ней расстался? Первая девушка, с которой я встречался, теперь служит в полиции. Прошлым летом она поймала какого-то гангстера на Кони-Айленде. Мать не разрешает ей выходить из дома в форме. Стесняется соседей.

– Естественно, – хмыкнула Гарриет.

– Другая девушка изменила фамилию и танцует в классическом балете. Ноги у нее потрясающие. Я всегда числил ее в красавицах. Тебя тоже.

– Мы неплохо смотрелись в паре, – сказала Гарриет. – Правда, у тебя очень уж быстро росла щетина. Электрическая бритва...

– Я от нее отказался.

Они проходили мимо дома, в котором раньше жил Пол, и он посмотрел на дверь подъезда, вспоминая, как они с Гарриет входили в нее и выходили в дождливые дни и по утрам, припорошенным снежком. Они остановились у старого кирпичного дома с облупившейся краской на рамах, взглянули на окно на четвертом этаже, из которого они высовывались, чтобы посмотреть, какая погода. Пол вспомнил, как одним зимним вечером они первый раз вошли в эту дверь вместе.

– Я был чертовски вежлив, – пробормотал он.

Гарриет улыбнулась, понимая, о чем он говорит.

– Ты все время ронял ключ и приговаривал себе под нос: «Боже, Боже», – когда наклонялся за ним.

– Я нервничал. Я точно хотел знать, что ты все понимаешь... никаких иллюзий. Добрые друзья, ситуация проста, как апельсин, через шесть недель из Детройта приезжает другая девушка, я ничем тебе не обязан, ты ничем не обязана... – Пол вновь посмотрел на окно на четвертом этаже. – Идиот!

– Какая тихая, спокойная улица. – Гарриет покачала головой, опять взяла Пола под руку. – Я должна идти в «Уонамейкерс».

Они двинулись дальше.

– А что тебе надо купить в «Уонамейкерсе»? – спросил Пол.

Гарриет на мгновение замаялась.

– Ничего особенного. Пеленки, распашонки. У меня будет ребенок. – Они прижались к стене, чтобы разминуться с женщиной, которая вела на поводках четырех дачхаундов. – Ну не забавно ли – я и ребенок! – Гарриет улыбнулась. – Я лежу целыми днями в кровати

и представляю себе, какой он будет. А в перерывах сплю и пью пиво, кормлю нас обоих. Никогда раньше я так хорошо не проводила время.

– Что ж, по крайней мере ты убережешь мужа от армии.

– Возможно. Но он у меня рьяный патриот.

– Хорошо. Когда он будет в Форт-Диксе, я буду встречать тебя на Вашингтон-сквер, где ты будешь гулять с ребенком. А чтобы соблюсти приличия, надену полицейскую форму. Я не такой уж рьяный патриот.

– Но тебя все равно заберут в армию?

– Конечно. Я пришлю тебе мою фотографию в лейтенантской форме. Из Болгарии. У меня есть предчувствие, что мне придется защищать стратегическую высоту в Болгарии.

– И как ты к этому относишься? – Впервые Гарриет повернулась к Полу и изучающе посмотрела на него.

Пол пожал плечами:

– Как к неизбежности. Это чертовски глупо, но не так глупо, как десять лет назад.

Внезапно Гарриет рассмеялась.

– Что я сказал смешного? – пожелал узнать Пол.

– Я впервые спросила тебя о твоём отношении к чему-то. Раньше такой необходимости не было. Ты сам мне обо всем докладывал. О своём отношении к Рузвельту, Джеймсу Джойсу, Иисусу Христу, Матиссу, йоге, спиртному, сексу, архитектуре...

– В те дни у меня обо всем было свое мнение. – В улыбке Пола проскользнула печаль. – Страсть и разговоры. Два краеугольных камня цивилизованных отношений между полами. – Он обернулся на окно четвертого этажа. – Подходящая была квартирка. И для страсти, и для разговоров.

– Пошли, Пол, «Уонамейкерс» не будет работать всю ночь.

Пол поднял воротник, потому что при подходе к Пятой авеню ветер усилился.

– Ты была единственной из моих знакомых девушек, с кем я мог спать в одной постели.

– Такого я еще ни от кого не слышала, – рассмеялась Гарриет. – Я должна воспринимать твои слова как комплимент?

Пол пожал плечами:

– Это факт. Относящийся к делу факт. Или не относящийся. Прилично ли говорить об этом с замужней дамой?

– Нет.

Пол какое-то время шел молча.

– О чем ты подумала, когда увидела меня? – наконец спросил он.

– В принципе ни о чем.

– Ты врешь?

– В общем-то нет.

– Разве ты не подумала: «Господи, да что я в нем находила?»

– Нет. – Гарриет сунула руки в карманы пальто.

– Хочешь знать, что подумал я, когда увидел тебя?

– Нет.

– Я искал тебя два года, – не унимался Пол.

– Мой домашний номер есть в телефонном справочнике. – Гарриет еще ускорила шаг.

– Я не осознавал, что ищу тебя, пока не увидел.

– Пожалуйста, Пол...

– Я мог идти по улице, увидеть бар, в котором мы сидели рядом, и зайти, хотя и не хотел выпить, не зная, почему я это делаю. Теперь знаю. Я ждал, что ты тоже туда придешь. Я оказался рядом с твоим домом не случайно.

– Послушай, Пол, – взмолилась она, – это было давно, у нас остались хорошие воспоминания, но все закончилось...

– Я был не прав. Понимаешь? Я был не прав. Ты знаешь, я так и не женился.

– Знаю. Пожалуйста, заткнись.

– Я шагаю по Пятой авеню и всякий раз, проходя мимо собора Святого Патрика, оглядываюсь, а не идешь ли по улице ты. Именно там я встретил тебя после того, как тебе вырвали зуб. Погода стояла холодная, ты шла вся в слезах, с покрасневшими глазами, и это был единственный раз, когда я случайно встретил тебя...

Гарриет улыбнулась:

– Воспоминание, достойное литературных мемуаров.

– Два года... – Пол помолчал. – За последние два года я расставался со многими женщинами. – Он пожал плечами. – Они надоедали мне, я – им. Я смотрел на каждую, проходившую мимо, в надежде, что это ты. Ты бы знала, как мне доставалось за это от моих девушек! Иногда я долго шел за женщиной с черными волосами, думая, что это ты, за женщиной в меховом жакете, какой носила ты, за женщиной с такой же прекрасной походкой, как у тебя... я два года рыскал по улицам города в поисках тебя, и только сейчас это понял. Тот маленький испанский ресторан, куда мы отправились в первый раз. Проходя мимо, я неизменно вспоминаю все: сколько мы выпили, какая играла музыка, о чем мы говорили, толстого кубинца, который подмигивал тебе, сидя за стойкой, как добирались до моей квартиры...

Оба шли быстро. Гарриет прижимала руки к бокам.

– То упоительное чувство, которое охватило меня, когда мы слились воедино...

– Пол, прекрати! – воскликнула Гарриет.

– Два года. За два года боль потери могла бы и притупиться. А вместо этого... – «Как я мог допустить такую чудовищную ошибку? – спросил себя Пол. – Как я мог? И исправить уже ничего нельзя». – Он резко повернулся к Гарриет. Она не смотрела на него, казалось, и не слушала, думая лишь о том, как бы побыстрее добраться до универсама. – А ты? Разве ты не помнишь?..

– Я не помню ни-че-го, – отчеканила Гарриет. И тут же слезы хлынули у нее из глаз. – Я абсолютно ничего не помню. Я не иду в «Уонамейкерс». Я еду домой. Прощай! – Она подбежала к стоящему на углу такси, открыла дверцу, нырнула в салон. Автомобиль рванул с места, и мимо Пола пронеслось лицо Гарриет с поблескивающими на глазах слезами.

Он провожал такси взглядом, пока оно не свернуло за угол. Повернулся и пошел в другую сторону, думая: «Я должен уехать из этого района. Слишком уж долго я здесь живу».

Судьбы наших детей

Нелсон Уивер сидел за столом и писал: «Заработная плата... Бриджпортский завод... 1.435.639,77 доллара». Затем он положил твердый, остро отточенный карандаш рядом с девятью другими твердыми, остро отточенными карандашами, которые в строгом порядке лежали возле серебряной рамки с фотографией его покойной жены.

Он взглянул на часы в кожаном футляре. Десять тридцать пять. Роберт придет через десять минут. Нелсон Уивер снова взял карандаш и посмотрел на длинные листки бумаги, плотно заполненные цифрами. «Амортизационные отчисления... 3.100.456,25 доллара», – написал он.

Налоговая декларация компании «Маршалл и Ко. Затворы и турбины» была почти готова. Он просидел за этим столом тридцать пять дней, работая тщательно, не спеша, точно Сезанн, который клал за день на холст всего шесть мазков. Он исписывал лист за листом до тех пор, пока изощренная гигантская бухгалтерия компании «Маршалл и Ко», охватившей паутиной своих махинаций банки, страны, штат Делавэр и китайский город Чунцин, где она продавала Чан Кайши электрооборудование, пока вся эта внушительная хроника затраченных и вырученных средств, предложенных и отвергнутых кредитов, больших и малых доходов и убытков не была разложена по полочкам и представлена в удобном для восприятия виде на пяти листках небольшого формата. Нелсон опять бросил взгляд на часы. Десять сорок. Поезд отходит в одиннадцать с четвертью. Времени у Роберта в обрез.

Нелсон посмотрел на выведенную сумму – 3.100.456,25 доллара. Он в тысячный раз восхитился изысканной, с наклоном, каллиграфической двойкой, которую научился вырисовывать еще в начале своей карьеры. Почему-то именно эта двойка была для него символом профессии, свидетельством его способностей, эмблемой удивительного мира чисел, где он чувствовал себя как рыба в воде, превращая людской пот и грохот механизмов, жару и дым, удачу и крах в ясные, четкие и непреложные таблицы.

Десять сорок три. Где же Роберт? Нелсон встал, подошел к окну, посмотрел на улицу с высоты пятидесятого этажа. И усмехнулся, поймав себя на том, что пытается с расстояния в пятьсот футов разглядеть сына в людском водовороте Сорок девятой улицы.

Он снова сел за стол, снова взял лист, над которым работал. Составление налоговой декларации было сложнейшей игрой со строгими правилами, где игроки с самым серьезным видом жонглировали отвлеченными понятиями, точно Спиноза, доказывающий тождество бога и природы, и получали при этом весьма реальные, осязаемые результаты, подобно тому гению, который доказал, что в 1932 году Дж. П. Морган не имел доходов, подлежащих обложению налогами.

Однажды, в 1936 году, Нелсон в редком для него порыве своенравия подготовил две налоговые декларации. Одну из них – «Маршалл и Ко» – представили государству. Вторая несколькими пунктами отличалась от первой и отдавала большую дань реальностям производства с его стальными механизмами и людским потом, чем формальной бухгалтерской символике цифр и процентных отчислений. Разница между ними составляла 700.362,12 доллара. С неделю Нелсон носил вторую декларацию в портфеле, получая от этого тайное удовлетворение, а затем на всякий случай сжег ее.

В этом году компания процветала, разрастаясь на дрожжах военных заказов, а налоги подскочили, так что разница между истинной суммой и той, что указана в официальной декларации, получится огромной, больше миллиона долларов. «Маршалл и Ко» платили ему сорок тысяч в год. Он этих денег стоит, подумал Нелсон.

Десять сорок семь. Роберта нет. Цифры начали прыгать перед глазами, и Нелсон отложил бумагу. К тому же талия Нелсона увеличивалась за год на дюйм, с пяти утра он мучился

бессонницей, постоянно ощущал свой возраст – неудивительный итог пятидесяти лет жизни, большая часть которой прошла за письменным столом.

Дверь распахнулась, и вошел Роберт в новенькой лейтенантской форме, с чемоданом из сыромятной кожи, подарком Нелсона.

– Пора в путь-дорогу, папа, – сказал Роберт. – Армия Соединенных Штатов ждет меня не дожидаясь.

Они улыбнулись друг другу, Нелсон снял с вешалки элегантную серую шляпу, аккуратно надел ее перед зеркалом.

– Я боялся, что ты опоздаешь, – сказал он, слегка поправляя поля шляпы.

Роберт любовался из окна Нью-Йорком: город сверкал в утренних лучах летнего солнца, здания громоздились друг на друге, точно цукаты на торте, гладкая голубая лента Гудзона терялась среди холмов Нью-Джерси.

– Боже мой, боже мой... – пробормотал Роберт. – Как здесь, должно быть, здорово работается! Прямо хоть садись и пиши Девятую симфонию, папа.

Нелсон улыбнулся, взял сына за руку.

– Мне здесь не до Девятой симфонии.

Он с удовольствием поднес бы Робертов чемодан до лифта и уже потянулся взять его, но Роберт, заметив это, молча перебрал чемодан в другую руку. В лифте они ехали с хорошенькой темноволосой женщиной в нарядном черном платье, которое сидело на ней, как на манекенщице, хотя и не каждой манекенщице удастся выглядеть столь эффектно. Она, видно, только что сделала прическу, и смелая элегантность сочеталась в ней со зрелой красотой. Нелсон заметил, что женщина с явным одобрением взглянула на его рослого сына – стройного, плечистого, сознающего, как он хорош в своем новом темно-зеленом лейтенантском френче с горделивой золотой полоской на каждом плече.

Роберт улыбнулся про себя, тоже отметив сдержанный одобрительный взгляд: ему было приятно, что на него так смотрят, и одновременно он стыдился этого своего самодовольства.

– Когда-нибудь, – сказал Роберт, когда они вышли из лифта и, потеряв женщину из вида, пошли в сторону Пятой авеню, – когда-нибудь, папа, человека будут судить за одни только мысли, которые проносятся в его голове.

Они обменялись улыбкой; Роберт глубоко вздохнул, посмотрел вокруг, улыбка все еще блуждала у него на губах, затем они сели в такси, и он сказал:

– Пожалуйста, на Большой Центральный вокзал.

Они молча сидели в машине, петлявшей по улицам города. Нелсон смотрел на роскошный чемодан из сыромятной кожи. Такие чемоданы, думал он, можно увидеть летом, в пятницу, на вокзале, где беззаботные люди в легких костюмах ждут поезда, который увезет их в Новую Англию, в Адирондак, на Кейп-Код... Он чувствовал, что для полноты картины недостает только теннисной ракетки в ярком кожаном чехле и голоса девушки, нежного и радостного, льющегося быстро и оживленно: «Возьми оливкового масла и уксуса в равной пропорции, добавь несколько капель глицерина и натирайся этим, милый, каждый час. Помнишь спасателя на пляже в Хоб-Саунде, который так делал, – он загорал по двенадцать часов в день и был коричневым, словно копченая баранина...»

Но вместо этого он услышал голос Роберта:

– Пять средних танков...

– Что-что? – Нелсон виновато посмотрел на сына. – Прости, я задумался.

– Когда я приеду туда, мне дадут под команду пять средних танков. По двенадцать тонн в каждом, экипаж из четырех человек. Триста тысяч долларов потратило государство на эти танки. И я должен буду приказывать им: вперед, стоп, повернуть, будьте добры, уничтожьте эту забегаловку, не откажите в любезности, засадите шесть снарядов в ту лавку женского

белья пятью кварталами дальше по этой улице. – Он широко улыбнулся. – Это я-то, который в жизни не управлял даже электрической железной дорогой. Представляешь, какое доверие оказало мне правительство Соединенных Штатов! Пять средних танков под моей командой – тут и растеряться недолго.

– Ты справишься, – уверенно сказал Нелсон.

Роберт посмотрел на него серьезно, без улыбки:

– Знаешь, и мне так кажется.

Такси подкатило к Центральному вокзалу, и они вышли.

– У нас есть пятнадцать минут, – сказал Роберт, посмотрев на часы. – Может, выпьем по бокалу, на посошок?

– Тебя еще кто-нибудь провожает? – спросил Нелсон, идя с сыном по тускло освещенному, гулкому подземному переходу к бару отеля «Коммодор». – Какая-нибудь девушка?

– Нет, – улыбнулся Роберт. – Решил никому не говорить. Уж если звать, то всех. Получилась бы встреча выпускниц Вассара с тридцать восьмого года по сорок первый включительно. – Он громко засмеялся. – Такие пышные проводы мне ни к чему.

Нелсон улыбнулся шутке и понял, что Роберт оставил последние минуты перед отъездом на фронт для прощания с отцом. Ему хотелось сказать Роберту, что он тронут этим, но слова, которые приходили на ум, были выспренними и неуклюжими, поэтому он решил промолчать. Они вошли в отель и стали у длинной стойки прохладного темного бара, опустевшего на время одиннадцатичасовой паузы; здесь рабочий день только начинался.

– Два мартини, пожалуйста, – попросил бармена Роберт.

– Последний раз я пил утром, – сказал Нелсон, – на свадьбе Артура Паркера, в тридцать шестом году.

– Сегодня можно, – сказал Роберт, – война все ж таки.

В миксере приятно позвякивали кусочки льда, кругом разносился слабый запах джина и тонкий аромат лимонного сока, который бармен осторожными движениями выдавливал в полные холодные бокалы. Они подняли бокалы, и Нелсон посмотрел на дорогое ему лицо сына – молодое, серьезное; голову Роберта венчала фуражка с блестящей золоченой кокардой. Нелсон перевел взгляд в затемненную глубь длинного зала с низким потолком, такого чистого, прибранного, с ровными рядами пустых столов, каким может быть только бар или ресторан, ожидающий посетителей. Кто знает, свидетелем скольких проводов, расставаний, последних поцелуев стал этот ближайший к вокзалу бар, сколько здесь было выпито безвкусных напитков, сколько людей пыталось заглушить здесь спиртным первую боль разлуки, сколько канувших в Лету призраков сидело за ровными рядами этих столов, сколько прощальных слов утонуло в беспечном звоне бокалов. Скольким отъезжающим чудился привкус смерти в проглоченном впопыхах последнем бокале виски...

Нелсон внимательно посмотрел на коротко остриженного сына. Он приподнял бокал, чокнулся с Робертом.

– За скорую победу, – сказал Нелсон.

Они выпили. Крепкий, с богатым букетом напитков мгновенно обжег Нелсону небо. Роберт, задерживая мартини во рту, наслаждался каждым глотком.

– Ты не представляешь, – сказал он, – как трудно достать хороший мартини в танковом корпусе.

Нелсон смотрел, как пьет сын, и ему вспомнился день, проведенный за городом, три года назад, когда Роберту было двадцать. Тем летом они снимали домик в Вермонте. Днем Роберт пошел купаться и вернулся с мокрыми волосами, босой, в белом купальном халате, с выпцветшим голубым полотенцем на плече; кисти его рук были коричневыми от загара, на носу выступили веснушки. Он распахнул дверь, затянутую сеткой от насекомых, громко распевая: «И небо надо мной не голубое, с тех пор как милую не вижу я».

Оставляя на циновке лужицы-следы, он скрылся на кухне. Когда Нелсон пришел на кухню, он увидел, что в одной руке у Роберта открытая запотевшая бутылка холодного пива, а в другой – нелепый гигантский бутерброд из двух огромных кусков ржаного хлеба, четверти фунта швейцарского сыра, двух здоровенных ломтей ветчины и трех громадных, сочных кусков говядины в томатном соусе. Роберт сидел возле изящного столика, откинувшись на шатком кухонном стуле, лучи полуденного солнца косо падали на него сквозь высокое старинное окно, капала с ног озерная вода, в руках – гигантский бутерброд и бутылка пива, рот забит сыром, соусом, ветчиной, хлебом и холодным пивом, но из горла еще как-то умудрялись вырываться нечленораздельные звуки. Он беззаботно помахал Нелсону бутербродом и пробурчал: «Умираю от голода. Проплыл четыре мили. Надо восстановить энергию».

«Через час будет обед», – сказал Нелсон.

Роберт усмехнулся с полным ртом.

«Я и обед съем. Можешь не сомневаться».

Он отхватил еще один кусок от своего бутерброда.

Нелсон смотрел на жующего сына и улыбался.

«Хочешь, сделаю и тебе бутерброд?» – спросил Роберт.

«Нет, спасибо».

«Я крупный специалист по бутербродам...»

Нелсон покачал головой, улыбаясь:

«Потерплю до обеда».

Он не мог оторвать взгляда от сына. Загар подчеркивал белизну ровных зубов, сильные мышцы шеи, выступавшие из-под белого купального халата, двигались без напряжения, когда Роберт делал очередной глоток.

«В твоём возрасте, – сказал Нелсон, – у меня тоже был волчий аппетит».

И вдруг сын посмотрел на Нелсона совсем по-новому, как бы увидел его двадцатилетним; Роберта охватила нежность к отцу, и он подумал о более поздних годах его жизни с гордостью и сочувствием...

– Что ж, – Роберт проглотил маслину, лежавшую на дне бокала, и поставил его с легким, приглушенным звоном, который разнесся по притихшему бару. – Что ж, пора на поезд.

Нелсон посмотрел вокруг, тряхнул головой, и домик в Вермонте, загорелый парень, запотевшая бутылка холодного пива – все исчезло. Он допил свой martini, расплатился, и вместе с Робертом они поспешили на вокзал, где их ждал поезд. На вокзале царили суматоха и смятение, мать какого-то солдата и две его родственницы монотонно причитали; Роберт почему-то лишь пожал отцу руку на прощанье, и больше не было слов, потому что оба чувствовали, что еще одно слово, и слез уже не сдержать, Роберт спустился по длинной лестнице на темневший внизу перрон. Чемодан из сыромятной кожи мелькнул в толпе...

Нелсон повернулся и медленно пошел на улицу. Перед глазами все еще была голова сына в фуражке, исчезнувшая в длинном проходе, который вел к поезду, средним танкам, пушкам, страданиям, голова сына, уходившего на войну без колебаний, легко и радостно. Он с трудом перешагивал через мраморные ступеньки вокзала, а в его сознании, затуманенном martini, плачущими на перроне женщинами, медленно всплывали картины прошлого лета.

Он видел сына, играющего в теннис. Роберт действовал легко и умело – просто летал по корту; он напоминал тех крепких калифорнийских парней, которые со скучающим видом профессионалов играют 365 дней в году. У Роберта была непосредственная манера в раздражении обращаться к самому себе, и стоило ему сделать ошибку, как он вскидывал голову и бормотал себе под нос: «Мазила! Мазила! Что ты здесь делаешь? Шел бы домой!» Он видел отца, который с улыбкой наблюдал за ним, и знал, что отец понимает его ворчливую тираду,

адресованную самому себе. Он усмехался, делал замах и подавал подряд три мяча, принять которые было просто невозможно...

Нелсон шел по Мэдисон-авеню к конторе «Маршалл и Ко», к бумагам со строгими и коварными цифрами, ждавшим его на столе, к аккуратной профессиональной бухгалтерской двойке, которой он так гордился. По дороге он задумался – в какой части света встретит врага его сын? В Африке? В Австралии? В Индии? В Англии? В России? Двадцатитрехлетнего парня, вчерашнего пловца и теннисиста, способного вынести тяготы самого сурового климата, вечно голодного любителя гигантских бутербродов, холодного пива и веселых розыгрышей, судьба забросит в бог знает какие пустыни, равнины, горы, джунгли, морские дюны, а его пятидесятилетний отец будет все так же тянуть лямку в конторе.

Нелсон шел по Мэдисон-авеню, мимо витрин шикарных магазинов. Две женщины обогнали его, и он услышал высокий женский голос:

– Ты только представь себе – платье из тафты, нежно-голубое, спереди сборки, а на спине вырез до талии. Ну просто умереть можно!

Мне и в голову не приходило, что все так обернется, думал Нелсон; ничего не видя перед собой, он уходил прочь от вокзала, с которого только что уехал на войну его сын. Была когда-то Первая мировая, и та давно кончилась... Как я мог так считать! У меня рос сын, но я не создавал своей ответственности перед ним. Я работал, одевал его, кормил, послал в приличный колледж, покупал ему книги и давал деньги на развлечения, возил на каникулы в Вермонт, но я не понимал, в чем моя ответственность перед ним. Я работал изо всех сил, мне было нелегко, я долго бедствовал, а только бедняки знают, как трудно выбиться из нужды. Я вкалывал, хотя должен был делать совсем другое. Я складывал миллионы цифр, рассчитывал махинации многих компаний, из года в год, иногда по восемнадцать часов в сутки, порой даже на еду времени не оставалось... Чем я занимался! Как я виноват. Я не должен был допустить этого. Мне почти столько же лет, сколько Гитлеру. Он сделал все, чтобы убить моего сына. Я же не сделал ничего, чтобы уберечь его. Нет мне прощенья! Почему я не умер от стыда, стоя в одной комнате с сыном, одетым в темно-зеленый лейтенантский френч?

Деньги... Я думал, как расплатиться с бакалейщиком, со страховым агентом, за электричество... Какая ерунда... Я растратил жизнь на пустяки. Мой сын ушел на войну, а я, старый, одинокий человек, только и делал, что платил арендную плату да подоходный налог. Я забавлялся детскими играми. Я дурманил себя опиумом. Как миллионы мне подобных. Война шла уже двадцать лет, а я и не догадывался. Я ждал, пока вырастет мой сын и отправится на эту войну вместо меня. Мне следовало кричать на улицах и площадях, хватать людей за лацканы пиджаков в поездах, библиотеках, ресторанах и вызывать к ним: «Пожалейте, поймите друг друга, уничтожьте свои пушки, забудьте о доходах, вспомните о добре...» Я должен был пройти через всю Германию, Францию, Англию и Америку. Я должен был проповедовать на пыльных дорогах, а в случае необходимости взяться за оружие. Я же провел всю жизнь в одном городе и исправно платил бакалейщику. Версаль, Маньчжурия, Эфиопия, Варшава, Мадрид – вот они, поля сражений, – а я-то считал, что была лишь Первая мировая и та давно кончилась.

Он остановился и поднял голову. На лице его выступил пот, соль резала глаза, и, протерев их рукой, он увидел, что стоит перед огромным массивным зданием, вечным и непоколебимым, в котором, в войну и в мирное время, «Маршалл и Ко» вершили свои дела. Таблицы и цифры ждали его, хитроумные, верткие цифры законных доходов, которые удалось получить мировому производителю затворов и турбин в этот кровавый и прибыльный год, и цифры, что попадут в официальный годовой отчет. Амортизационные отчисления... 3.100.456,25 доллара.

Он смотрел на высокое сверкающее здание, устремленное в нежное летнее небо. Люди толкали Нелсона, а он стоял у подъезда, не в силах войти внутрь.

Зеленая ню

В молодости Сергей Баранов, уже тогда любивший рисовать натюрморты с красными яблоками, зелеными грушами и ярко-оранжевыми апельсинами, добровольцем ушел в Красную Армию и в жарких боях под Киевом внес свою лепту в общую победу над белыми. Крепкого сложения, добродушный, мечтательный юноша, он никому ни в чем не мог отказать и, раз все его друзья ушли в Революцию, составил им компанию, служил верно и весело, ел солдатский черный хлеб, спал на соломе, по приказу командира нажимал на спусковой крючок древней винтовки, храбро наступал, когда все наступали, и бежал изо всех сил, если чувствовал, что от быстроты ног зависит его жизнь.

После победы Революции он демобилизовался из армии со скромной медалью за сражение, в котором не участвовал, поселился в Москве и вновь принялся рисовать красные яблоки, зеленые груши и ярко-оранжевые апельсины. Все его друзья по-прежнему верили в необходимость и полезность Революции, а Сергей, который прекрасно обошелся бы и без нее, во всем с ними соглашался. На самом деле Баранова интересовали в жизни только яркие цвета фруктов и овощей, возникавших на его полотнах, и если в мастерской или в кафе, где он часто бывал, вспыхивали дискуссии о Ленине, Троцком и новой экономической политике, он добродушно смеялся и отмахивался от спорщиков: «Да кто тут что может знать? Это для философов».

Будучи героем Революции и по-настоящему талантливым художником, он пользовался хорошим отношением властей. Для работы ему выделили прекрасную студию с застекленной крышей и отоваривали продуктами по категории рабочих тяжелого физического труда. Картины принимали очень доброжелательно, поскольку дары природы выглядели на них столь соблазнительно, что рука так и тянулась к ним. Продавались его полотна без малейшей задержки для украшения домов и кабинетов достаточно важных чиновников нового режима и оживления мрачных и блеклых стен учреждений.

В 1923 году, когда Баранов встретил и покорила аппетитную юную красавицу из Советской Армении, в его творчестве начался новый этап. От фруктов он перешел к обнаженной натуре. Техника художника нисколько не изменилась, несмотря на кардинальную смену объекта, а потому популярность его возросла многократно. Рука зрителя по-прежнему так и тянулась к его полотнам, на которых в оптимальных пропорциях сочетались прелести фруктового сада и гарема, и вскоре еще более высокие чины стали прилагать немалые усилия, чтобы купить его ню – розовеньких, пышущих здоровьем и с радующими глаз округлостями.

Несомненно, Баранов до сего дня продолжал бы в том же духе, радостно выдавая на-гора картины с пышнотелыми голенькими или чуть прикрытыми сдобными девушками, чередуя их с огромными гроздьями винограда и бананами, шагал бы от успеха к успеху, от награды к награде, если б однажды, на литературном вечере, не встретил женщину, которая скоро стала его женой.

Анна Кронская принадлежала к числу тех остролицих и чрезвычайно энергичных женщин, которых освобождение из плена кухни и детской вытолкнуло в суровый мужской мир. Костлявая, неумная, умная, языкастая, терзаемая несварением желудка и глубоко презирающая мужчин, в Америке она без труда влилась бы в стройные ряды женщин, которые хозяйничали в магазинах или писали репортажи с войны для периодических изданий Люса². Как говорил один из ее друзей, пытаясь максимально точно определить различие между Анной

² Люс, Генри Робинсон (1898–1967) – издатель. Основал еженедельник «Тайм» (1923 г., с Б. Хэдденом) и «Форчун» (1930 г.), в 1936 г. приобрел еженедельник «Лайф».

и ее более женственными современницами: «Анне нет нужды подкрашиваться перед тем, как выйти из дома. Она обходится хонингованием³».

Когда Сергей встретил ее, она работала в системе Наркомпроса – руководила двадцатью тремя детскими садиками. Под ее началом трудилось более пятисот мужчин и женщин, и она уже сумела оставить свой след в душах представителей подрастающего поколения молодого государства. Находящихся на ее попечении чистеньких и ухоженных детей ставили в пример на всех совещаниях, и только в 1938 году очередной статистический анализ показал, что выпускники детсадов товарища Кронской по количеству нервных срывов превосходят любую прочую группу населения как минимум в соотношении три к одному.

А в незаконченном исследовании, проведенном одним полковником в период затишья на Южном фронте в 1944 году, отмечалось, что деятельность Анны Кронской по воспитанию молодого поколения нанесла Красной Армии больший урон, чем вся бронетанковая дивизия Девятой немецкой армии. Однако начальство полковника отнеслось к промежуточным выводам исследования с некоторым сомнением из-за справки ОГПУ, в которой указывалось, что этот полковник с третьего по седьмое августа 1922 года пребывал в любовниках товарища Кронской, а восьмого подал в штаб рапорт с просьбой о скорейшем переводе в Архангельск.

Вот эта дама, сопровождаемая рафинированным поэтом и стареющим летчиком-испытателем, едва перешагнув порог, положила глаз на крепыша Баранова и приняла окончательное решение, в корне изменившее жизнь художника. Ее темно-серые глаза ярко блестели, когда она пересекала комнату, чтобы представиться художнику, напрочь игнорируя красавицу из Советской Армении, сопровождавшую его повсюду. Анна мгновенно инициировала процесс, который три месяца спустя привел к свадьбе. Никто из ее многочисленных друзей так и не смог понять, что привлекло ее в Баранове. Возможно, за добродушной манерой держаться и цветущим видом она сразу рассмотрела его отменное пищеварение и крепкую, не подточенную комплексами нервную систему – атрибуты, абсолютно необходимые мужу деловой женщины, которая ежевечерне возвращается домой, не в силах отключиться от множества дневных проблем. Какими бы ни были причины, Анна не оставила Сергею выбора. После душераздирающей сцены с представительницей Советской Армении он нарисовал последнюю розовую сдобную ню и помог бедной девушке перевезти скромные пожитки в комнату, которую сумела найти для нее Анна, в трущобном районе в сорока пяти минутах езды от центра города. И тут же Анна переехала к Сергею, вместе с новой кроватью с пружинным матрасом, тремя чемоданами с брошюрами и отчетами и большой настольной лампой.

Поначалу казалось, что новобрачные счастливы. Конечно, какие-то изменения в Баранове проявились. В компании он был теперь не столь словоохотлив и перестал рисовать обнаженную натуру. Полотна, даже наброски с пышными женскими формами, пусть от талии и выше, более не покидали стен его мастерской. Он вновь целиком сосредоточился на растительном мире и, похоже, вышел на более высокий уровень понимания проблем яблока, апельсина и груши. Как и прежде, фрукты просились в рот, но в картинах словно появилось новое измерение, этаким легкий налет меланхолии и ощущение бренности бытия, будто фрукты, изображенные на них, – последние дары уходящего года, найденные среди увядающих листьев на ветвях и лозах, которые уже стонали под жестокими ветрами, предвестниками грядущей зимы.

Творческие достижения Баранова не остались незамеченными. Они удостоились похвалы критики и публики, а картины украсили стены музеев и учреждений. Успех, впрочем, не сильно отразился на нем. Все более молчаливый, он экспериментировал со свеклой

³ Хонингование – отделочная обработка поверхностей мелкозернистыми абразивными брусками.

и тыквами, ударяясь в бордо и темную желтизну, всюду появлялся со своей тощей и умной женой, а вечерами скромно наблюдал, как она превращает в собственный монолог любую дискуссию в литературных, артистических, политических, преподавательских и деловых кругах. Однажды – что правда, то правда – по требованию жены он отправился в один из подведомственных ей детских садов и начал рисовать группу посещавших его детей. Рисовал час, потом отложил кисть, разорвал холст пополам, бросил в печь и ушел в мужской туалет, где, по сведениям очевидцев, разрыдался. Историю эту никто, разумеется, не принимал за правду, потому что распространял ее молодой воспитатель, сцепившийся по какому-то поводу с Анной Кронской и позднее уволенный ею по обвинению в неблагонадежности. Как бы то ни было, Баранов вернулся в свою мастерскую и полностью сосредоточился на свекле и тыквах.

Примерно в это же время он начал рисовать по ночам, используя ту самую настольную лампу, которая составляла часть приданого Анны. Они, учитывая их высокий социальный статус, уже получили отдельную квартиру, которая находилась в каком-то километре от мастерской Баранова, и поздними вечерами, в снег и дождь, крепкий, но уже чуть сторбленный художник неизменно брел по пустынным улицам, лежащим между его домом и мастерской. Он стал очень скрытным, всегда запирает дверь на замок, а на вопросы друзей о работе лишь улыбался и переводил разговор на другое. Анна, у которой хватало своих забот, разумеется, не интересовалась творчеством супруга и только на персональной выставке, открытие которой почтила своим вниманием вся интеллектуальная элита – как государственные мужи, так и деятели культуры, – впервые увидела картину, над которой он трудился последние месяцы.

Баранов нарисовал обнаженную женщину. Но она не имела ничего общего с теми ню, что раньше выходили из-под его кисти. На огромном и пугающем полотне для розового места не нашлось. Превалировало зеленое, того оттенка, что окрашивает небеса перед бурей или ураганом, – болезненное, мрачное, давящее на глаза. В зеленых тонах были выдержаны и сама фигура, с жалкой грудью, прямыми волосами, дряблым животом и жилистыми, но тем не менее влекущими чреслами, и сверкающие демонические глаза под сурово сдвинутыми бровями. А вот на рот, пожалуй, самый жуткий фрагмент картины, пошла убийственно-черная краска. Губы ню словно пребывали в непрерывном движении: художнику удивительно точно удалось поймать момент, когда модель забыла обо всем на свете, кроме речи, которую произносила. Этот рот доминировал на полотне, более того, во всем выставочном зале. Бурный, мерзкий, зловонный поток срывался с черных губ, и не осталось без внимания, что посетители выставки изо всех сил пытались отвести взгляд от этой завораживающей детали. И фон картины кардинально отличался от привычной для Баранова тщательно прорисованной яркой ткани, восточного ковра или сочной листвы. Возлежала ню на фоне руин храмов и поселений под зеленовато-угольным небом. Если что и связывало картину с прошлым творчеством Баранова, так это вишня, изображенная в правой части картины. Чахлое деревцо вырвали с корнем, зеленый грибок пожирал ветви, толстая, змееподобная лиана обвила ствол, зеленые же червячки лакомились незрелыми ягодами. Полотно являло собой смесь безумия, гениальности, мощи, бедствия, печали и отчаяния.

Анна Кронская-Баранова вошла в выставочный зал, где посетители, поглощенные ужасным полотном, стояли молча, разбившись на небольшие группки.

– Великолепно! – услышала она шепот Суварнина, критика журнала «Серп».

– Бесподобно! – донесся до нее выдох художника Левинова, когда она проходила мимо.

Баранов стоял в углу, скромно принимая поздравления друзей, восторгавшихся его талантом. Анна в недоумении посмотрела на картину, потом на мужа. Тот же румянец во всю щеку, та же добрая улыбка, та же покорность в лице, как и все эти годы. Направилась к нему, чтобы поздравить, хотя ей казалось, что картина очень уж далека от жизни, но ее

перехватили двое мужчин с тракторостроительного завода в Ростове – она увлеклась, читая им лекцию о производстве тракторов, и до самого позднего вечера не смогла перекинуться с Барановым и парой слов.

Изредка кто-нибудь из гостей одаривал Анну долгим и задумчивым взглядом, особенно, если она случайно оказывалась в непосредственной близости от шедевра мужа. И хотя взгляды эти не укрылись от Анны и в них чувствовалась смутная тревога, она оставляла их без внимания, поскольку привыкла ко всяким взглядам, которые бросали на нее подчиненные в коридорах, палатах и кабинетах вверенных ей детских садилов. Истинной причины этих оценивающе-сравнивающих взглядов она не узнала, потому что во всем Советском Союзе не нашлось бы храбреца, которому хватило бы смелости просветить ее: в диком, из кошмарных снов, лице, венчавшем ужасное зеленое тело, угадывалось сходство с Анной Кронской. И это сходство не могли скрыть никакие ухищрения художника. Сестры, родственные души – нарисованная и живая женщины – пребывали в неразрывном единстве, бросавшемся в глаза каждому. Во всей Москве лишь еще один человек не знал, что художник нарисовал портрет своей жены, и человек этот каждый вечер приходил к ней домой. В тот вечер, купаясь в лучах новой славы, не ведая, что сотворил, Сергей Баранов, празднуя свой триумф, повел жену на балет, а потом заказал в кафе три бутылки шампанского, чем вызвал восторг двух тракторостроителей из Ростова.

Неделю, последовавшую за открытием выставки, Баранов пребывал в центре внимания. На нем скрещивались все взгляды, особенно если он появлялся с женой, газеты взхлеб хвалили его, заказы сыпались как из рога изобилия. Критик Суварнин, который раньше едва с ним здоровался, соблаговолил прийти в мастерскую Баранова, чтобы взять у него интервью, и вопреки всем традициям явился трезвым.

– Скажите... – Холодные светлые глаза Суварнина, проделавшие немало дыр во многих полотнах, буравили Баранова. – Скажите, что могло подвигнуть на такую картину человека, который всю жизнь рисовал фрукты?

– Дело в том, – начал Баранов, к которому за последнюю неделю вернулась малая толика красноречия и широты души, – дело в том, что так уж вышло. Если вы видели мои последние полотна, то, наверное, заметили, что в них прибавлялось и прибавлялось меланхолии.

Суварнин задумчиво кивнул, соглашаясь с художником.

– Палитра становилась все более мрачной. Преобладало коричневое, темно-коричневое. Фрукты... что же, это правда, фрукты увядали, их прихватывало морозом, они гнили. Бывало, я приходил в мастерскую, садился и плакал. Час. Два часа. В полном одиночестве. По ночам мне начали сниться сны: смерть, уходящие поезда, отплывающие корабли, я один на перроне, на пристани... Меня хоронили заживо, обнюхивали темно-коричневые лисы, какие-то маленькие зверушки... – В словах Баранова чувствовалось счастье абсолютно здорового человека, описывающего симптомы тяжелой болезни, от которой он полностью излечился. – Но чаще всего мне снился один и тот же кошмарный сон. Я – в маленькой комнатке, а вокруг женщины, одни женщины. Все женщины могут говорить, я – нет. Но я пытаюсь, шевелю губами. Однако язык лишь подрагивает между зубами. Разговоры вокруг оглушают, как паровозные гудки или пожарные сирены. А я не могу издать ни звука. Вы и представить себе не можете, как это страшно. Каждую ночь меня словно бросали в тюремную камеру. Я начал бояться кровати. Приходил сюда, смотрел на чистый холст на мольберте, на картофель и баклажаны, которые хотел нарисовать, и не мог взять в руку кисть. Художник, как вы знаете, творит эмоциями. Как я мог трансформировать то, что распирало меня, в образ баклажана, картофеля? Я потерял желание жить, чувствовал, что больше не могу рисовать. И даже подумывал о самоубийстве.

Суварнин кивнул и подумал о том, что надо бы кое-что записать, а ведь такого с ним не случилось уже лет двадцать, поскольку он придерживался мнения, что точность в интервью – враг свободной критики. Пошарил в кармане в поисках ручки – не нашел. Вытащил руку из кармана, поняв, что придется обойтись без записей.

– О самоубийстве, – повторил Баранов, радуясь, что сам Суварнин, перед которым трепетали все художники, с таким вниманием выслушивает его исповедь. – Я стонал, орал в голос. – Баранов знал, что ничего подобного не было и в помине, он просто сидел перед чистым холстом, но предположил, что активное проявление чувств покажется критику более естественным, и не ошибся. – Я плакал. Отчаяние вцепилось в меня мертвой хваткой.

Суварнин заерзал, искоса глянул на бутылку водки, стоявшую на столе, облизнул уголок рта, и Баранов торопливо продолжил, коря себя за то, что, возможно, перегнул с проявлением эмоций:

– Я схватил кисть. Рука двигалась сама, я ею не управлял. Я не подбирал цвета, не смотрел на баклажан и картофелины. Рисовали мои страхи, используя меня в качестве инструмента. Я превратился в связующее звено между моими снами и холстом. Я практически не видел, что творю. Я рисовал всю ночь, ночь за ночью... – Баранов уже забыл, что старался произвести впечатление на критика. С его губ срывалась правда, правда, одна правда. – И знал я только одно: по мере того как картина близилась к завершению, огромный груз падал с моих плеч. Мое подсознание высвобождалось из тюрьмы. Когда я ложился спать, мне уже не снилось, что меня похоронили заживо, меня уже не обнюхивали темно-коричневые лисы. Их место в моих снах заняли залитые весенним солнцем виноградники и полногрудые молодые женщины, к которым мне хотелось подойти на улице. Последний раз коснувшись кистью холста, я отошел на шаг, взглянул на зеленую обнаженную женщину и руины и изумился тому, что увидел перед собой. Как изумился бы, если бы вошел в свою студию и нашел в ней другого человека, незнакомца, который воспользовался моим мольбертом, пока я отсутствовал. И кем бы он ни был, этот человек, я испытывал к нему безмерное чувство благодарности. А право на это чувство делила с ним зеленая дама. Вдвоем они вытащили меня из ада.

Суварнин встал, крепко пожал художнику руку.

– Из душевной боли рождается великое искусство, – изрек он. – Только из глубин отчаяния и можно дотянуться до небес. Вспомните Достоевского.

Баранов кивнул, но чуть смутился: он трижды пытался прочитать «Братьев Карамазовых», но так и не перевалил через сто шестьдесят пятую страницу. Суварнин, однако, не стал развивать тему:

– Прочитайте мою статью в субботнем номере. Думаю, вам понравится.

– Заранее благодарю, – потупился Баранов, решив, что после ухода Суварнина сразу позвонит Анне и сообщит сногсшибательную новость. – Я – ваш должник.

– Ерунда, – отмахнулся Суварнин. Вот эта точность в выборе слов и обеспечивала ему славу ведущего критика. – Искусство у вас в долгу. И последний вопрос. Что вы теперь собираетесь писать?

Баранов ослепительно улыбнулся:

– Вишни. Шесть килограммов спелых вишен в плетеной корзине. В два часа дня их принесут с рынка.

– Хорошо.

Они вновь обменялись рукопожатием, и критик отбыл, бросив еще один осторожный взгляд на бутылку водки.

Баранов сидел за столом, мечтательно ожидая прибытия вишен, и думал: «Может, пора заводить отдельную папку для газетных вырезок с моими интервью?»

В субботу дрожащими руками Баранов открыл журнал. На странице с фотографией Суварнина по глазам ударил черный заголовок: «ГРЯЗЬ В ГАЛЕРЕЯХ». Баранов моргнул.

Потом начал читать. «На прошлой неделе, – писал Суварнин, – контрреволюция нанесла один из самых жестоких ударов по российскому искусству. Дьявольская кисть некоего Сергея Баранова, доселе скрывавшего еретическое бесстыдство под грудами гниющих фруктов и вдруг почувствовавшего, что он может выставить напоказ свою подлую сущность, явила нам вызывающее тошноту мурло декадентской буржуазной “живописи”».

Баранов сел, жадно ловя ртом воздух и проталкивая его в перехваченные болью легкие. Продолжил чтение: «Этим гангренозным наростом, – пусть кровавый туман и застилал глаза, Баранов узнал любимое словечко Суварнина, – умирающий мир капитализма, объединившись с троцкистскими бандитами, дал знать Советскому Союзу, что его прихлебатели и агенты проникли в самое сердце культурной жизни родины. Чьи предательство и продажность позволили Баранову выставить свое чудище в стенах государственной галереи, пусть выясняет народный прокурор. Но, ожидая результатов расследования, которое обязательно будет проведено, мы, представители интеллигенции, должны сомкнуть ряды, чтобы достойно защитить дорогую нам культуру. Наш долг – не позволить вероломному Баранову и ему подобным, тем, кто раболепно аплодирует заблуждениям и причудам своих хозяев-плутократов, марать наши стены этими образчиками дадаистского отчаяния, реакционного кубизма, безыдейного абстракционизма, сюрреалистического архаизма, аристократического индивидуализма, религиозного мистицизма, бесчеловечного фордизма».

Баранов положил журнал на стол. Дальше он мог и не читать. Подобные статьи так часто появлялись на страницах периодических изданий, что следующие абзацы он мог процитировать и не читая. Мир его рухнул. Сгорбившись, Баранов тупо уставился на шесть килограммов вишен в плетеной корзине.

В дверь постучали. Прежде чем он успел сказать «войдите», она открылась и Суварнин переступил порог. Критик подошел к столу, налил стакан водки, залпом выпил. Повернулся к Баранову.

– Я вижу, – указал он на раскрытый журнал, – что вы прочитали статью.

– Да, – просипел Баранов.

– Вот. – Суварнин достал из кармана рукопись. – Возможно, вас заинтересует первоначальный текст.

Непослушными пальцами Баранов взял рукопись. Перед глазами все плыло. Суварнин тем временем вновь наполнил стакан. «...вновь раскрывшаяся сторона великого таланта... сомнение и разочарование, которые становятся отправным пунктом долгого пути осознания... потрясающая техника... пионерский прорыв в глубины психики современного человека посредством...». Баранов отбросил листки.

– Что... что произошло? – выдохнул он.

– Правление Союза художников, – ответил Суварнин. – Они видели вашу картину. Потом прочитали мою рецензию. Попросили внести некоторые изменения. Клопьев, председатель правления, который написал восемьдесят четыре портрета Сталина, проявил особое рвение.

– И что теперь будет со мной?

Суварнин пожал плечами.

– Как друг, я советую вам... покинуть страну. – Он наклонился, взял со стола листки с первым вариантом рецензии. Порвал на мелкие кусочки, положил на металлический лист у печки, поджег. Подождал, пока они сгорят, потом тщательно растер ногой пепел. Допил водку, на сей раз прямо из бутылки, и вышел из мастерской.

В эту ночь Баранову не снились сны. Он не сомкнул глаз, слушая нотации жены.

Она говорила с восьми вечера до восьми утра. Эдмунд Берк⁴, живший в другом столетии и в куда более спокойной стране, пришел бы в совершеннейший восторг, услышав ее речь, в которой все аспекты произошедшего события получили должную и всестороннюю оценку. Во второй половине дня Анне сообщили, что их квартира передана виолончелисту, двоюродный брат которого работал в Центральном Комитете, а она с пяти вечера переводится из управления дошкольных учреждений Наркомпроса в помощники диетолога колонии для несовершеннолетних преступников, расположенной в тридцати километрах от Москвы. Отталкиваясь от этих фактов, она двенадцать часов подряд обрушивала поток красноречия на своего единственного слушателя, практически не переводя дыхания и ни разу не повторившись.

– Ты погубил нас, – подвела Анна итог начисто лишенным хрипотцы голосом, когда за окном зазвучали восьмичасовые фабричные гудки. – Погубил. И ради чего? Ради идиотской, бессмысленной мазни, в которой никто ничего не может понять! Человек хочет быть художником! Хорошо! Это детское желание, но я не жалуюсь. Человек хочет рисовать яблоки. Глупо? Само собой. Но с яблоками все ясно. Яблоки не имеют политического подтекста. Они не превращаются в бомбы. Но эта... эта обнаженная ведьма... Почему? Почему ты так поступил со мной? Почему?

Баранов, привалившись спиной к подушкам, тупо смотрел на жену.

– Не молчи! – воззвала к нему Анна. – Не молчи, ты должен что-то сказать. Ты же не немой. Скажи что-нибудь. Хоть слово.

– Анна, – выдавил Баранов, – Анна... пожалуйста... – И замолчал. Хотел сказать: «Анна, я тебя люблю», – но вовремя передумал.

– Что? – потребовала продолжения Анна. – Что?

– Анна, давай не будем терять надежду. Может, все утрясется.

Анна смерила его холодным взглядом:

– Где-то может что-то утрястись, но только не в Москве.

Она оделась и отправилась в колонию для несовершеннолетних преступников доложить, что готова приступить к работе на кухне.

Предсказание Анны имело под собой веские основания. И в сравнении с грязью, которую вылили на Баранова газеты и журналы по всему Советскому Союзу, статья Суварнина казалось похвалой. Нью-Йоркская газета «Нью мэссез», ранее никогда не упоминавшая фамилии Баранова, на целой странице – вторую занимал портрет Сталина работы Клопьева – размазывала его по стенке, назвав среди прочего «предателем интересов рабочего класса, развратником, жаждущим плотских утех Запада, сенсуалистом с Парк-авеню, человеком, который был бы на своем месте, рисуя карикатуры в «Нью-йоркере»».

В другой статье писатель, который позднее стал католиком и уехал в Голливуд, где писал сценарии для «Метро-Голдвин-Майер» для собаки-звезды, использовал дело Баранова, чтобы назвать Микеланджело первым представителем школы социалистического реализма.

В Москве съезд художников, на котором председательствовал пламенный Клопьев, единогласно (пятьсот семьдесят восемь человек – «за», ни одного – «против») исключил Баранова из Союза. И следующим утром, в интервале с десяти до двенадцати часов, картины Баранова исчезли со всех российских стен, на которых они доселе висели. Мастерскую, где Баранов проработал десять лет, у него отняли и передали человеку, который рисовал щиты-указатели для метрополитена. В течение трех месяцев двое здоровяков в штатском

⁴ Эдмунд Берк (1729–1797) – англо-ирландский публицист и философ, автор памфлетов, высмеивающих Великую французскую революцию.

всюду следовали за Барановым. Его почта всегда опаздывала и всегда просматривалась. Анна Кронская обнаружила микрофон под раковиной на кухне, где она теперь работала. Давние друзья переходили на другую сторону улицы, издали увидев Баранова, и он уже не мог достать билеты в театр или на балет. Женщина, которую Баранов и в глаза не видел, заявила, что он – отец ее незаконнорожденного ребенка. Дело пошло в суд, который признал правоту женщины и постановил, что Баранов должен платить по девяносто рублей в неделю на содержание ребенка. Только чудом ему удалось избежать отправки в трудовой лагерь.

Поняв наконец, куда дует ветер, Баранов положил в саквояж кисточки и настольную лампу и, похудевший, осунувшийся, в сопровождении Анны, последовал совету Суварнина.

Шестью месяцами позже, летом 1929 года, Баранов и Анна обосновались в Берлине. В то время столица Германии встречала художников с расprostертыми объятиями, и Баранов, вернувшись к ранним сюжетам, когда нарисованные им апельсины, лимоны, яблоки так и просились в рот, быстро завоевал признание публики.

– Здесь нас ждет счастливая жизнь, – предсказала Анна. И уточнила, что для этого нужно: – Рисовать будешь только фрукты и овощи. Темные цвета использовать по минимуму. Никаких ню, никакого политического подтекста. Рот держи на замке, говорить буду я.

Баранов почел за счастье следовать этим простым и полезным для здоровья рекомендациям. Если не считать легкого размыва контура, тончайшего тумана, словно поднимавшегося из подсознательной нерешительности художника, не позволяющей раз и навсегда определиться с любым, даже самым простым вопросом вроде положения лимона на скатерти, его работы во многом напоминали полотна, которые он создавал, вернувшись с полей революционных сражений. Баранов процветал. Вновь появившиеся щеки порозовели, он даже отрастил небольшой животик. На лето снимал маленький домик в Баварии, арендовал прекрасную мастерскую неподалеку от Тиргартена. Проникся прелестью подвалчиков и мюнхенского пива, а когда разговор переходил на политику, что в те дни случалось очень часто, добродушно отшучивался: «Да кто тут что может знать? Это для философов».

Когда Суварнин (из-за первого, неопубликованного, варианта рецензии он впал в немилость властей, и вскоре ему перекрыли доступ на страницы прессы) появился в Берлине, сирий и убогий, Баранов пригласил его и поселил в пустующей комнате под мастерской. И даже смог выдавить смешок, узнав от Суварнина, что его зеленая ню заняла почетное место в новом музее декадентского искусства в Ленинграде.

Анна нашла себе должность инструктора физкультуры в одной из новых организаций для молодых женщин, которые тогда появлялись как грибы после дождя. Достоинства ее программ не остались незамеченными. Из зала Анны выходили батальоны крепких женщин с мощными бедрами, которые могли совершать восемнадцатичасовые броски по пашне и разоружать сильных мужчин с винтовками и штыками. Когда Гитлер пришел к власти, Анну пригласили в государственные структуры и отдали под ее начало программы физической подготовки женщин в Пруссии и Саксонии. И лишь гораздо позже бюро статистики Национально-Патриотического фронта женщин-матерей опубликовало отчет, в котором указывалось, что по числу выкидышей и смертей первенца выпускницы классов Анны превосходили любую другую группу женщин в соотношении семь к одному. Но разумеется, к тому времени Барановы уже покинули страну.

Между 1933 и 1937 годами жизнь Барановых очень напоминала их лучшие дни в Москве. Баранов работал без устали, и его зрелые фрукты украсили многие знаменитые стены, в том числе, по слухам, помещения бункера фюрера под Канцелярией, в немалой степени скрасив аскетичность обстановки. Будучи всюду желанными гостями, в силу значимости поста, который занимала Анна, и добродушного юмора Баранова, они кочевали с одного приема на другой, где жена художника, как обычно, монополизировала беседу,

выказывая глубокое знание таких вопросов, как военные тактика и стратегия, производство стали, дипломатия и воспитание подрастающего поколения.

Друзья потом вспоминали, что именно в этот период Баранов стал заметно более молчаливым. На приемах и вечеринках он обычно стоял рядом с Анной, слушал, ел виноград и жевал миндаль, частенько отвечал невпопад и исключительно односложно. Он похудел, а по взгляду чувствовалось, что спит он плохо и его мучают кошмары. Он начал рисовать по ночам, запирая дверь в мастерскую, плотно задернув шторы, при свете настольной лампы, привезенной из России.

Так что зеленая ню стала полным сюрпризом и для Анны, и для друзей Баранова. Суварнин, который видел и оригинал, и берлинское полотно, заявил, что в целом второй вариант получился даже лучше первого, хотя главная фигура, во всяком случае концептуально, вышла один в один.

– Душевная боль, – говорил Суварнин, который в то время состоял на государственной службе в качестве разъездного критика по архитектуре, резонно рассудив, что в этой сфере человеческой деятельности ошибки в суждении не могут привести к столь катастрофическим последствиям, как в живописи, – душевная боль, которой пронизана картина, кажется непереносимой. Человеку ее уже не выдержать. Она по плечу герою, великану, богу. Баранов заглянул в пучину подсознательного отчаяния. Возможно, из-за того, что я знал о кошмарных снах Баранова, и в частности о том, где Баранов не мог произнести ни слова в комнате, полной говорящих женщин, у меня возникло сильное ощущение, что зеленая женщина – это само человечество, запертое в немоте, протестующее без слов и без надежды против трагических трудностей жизни. Особенно мне понравилась милая маленькая деталь: голый карлик-гермафродит, выписанный розовым в левом нижнем квадрате, которого обнюхивают маленькие темно-коричневые зверьки.

Сомнительно, что Баранов даже думал о том, чтобы показать картину широкой общественности (после завершения работы над ней он успокоился, а воспоминания о том, что произошло в Москве, были еще слишком свежи, чтобы решиться выставить ее в Берлине). Но дальнейшую судьбу Баранова определил не он сам, а гестапо. По заведенному порядку агенты тайной полиции еженедельно обыскивали дома и служебные помещения всех, кто читал зарубежные газеты (от этой вредной привычки Баранов так и не смог отказаться), и наткнулись на зеленую ню в тот самый день, когда художник последний раз прикоснулся к ней кистью. Оба агента были простыми немецкими парнями, но неплохо усвоили азы национал-социалистической культуры, чтобы понять и прочувствовать предательство и ересь. Вызвав подкрепление и оцепив здание, они позвонили шефу отдела, ведающего подобными вопросами. Часом позже Баранова арестовали, а Анну сняли с работы и отправили помощником диетолога в приют для матерей, родивших вне брака, у польской границы. Как и в Москве, ни один человек, даже бравый полковник бронетанковой дивизии СС, с которым Анну связывали интимные отношения, не решился намекнуть ей, что в поисках модели Баранову не пришлось выходить из дома.

В гестапо его допрашивали месяц. За это время Баранов лишился трех передних зубов, его дважды приговаривали к смерти, а на допросах требовали выдать заговорщиков и сообщников и признаться в диверсиях, совершенных в последние месяцы на авиационных заводах. Пока Баранов находился в гестапо, его картину показали на большой выставке, устроенной министерством пропаганды, чтобы познакомить широкую общественность с новейшими тенденциями в декадентском и антигерманском искусстве. Выставка пользовалась огромным успехом и побила все рекорды по посещаемости.

В день освобождения Баранова из гестапо (он еще больше похудел, заметно ссутулился и мог есть только мягкую пищу) ведущий критик берлинской «Тагесблатт» вынес официальную оценку картине. Баранов купил газету и прочел следующее: «Это иудо-анархизм в апо-

гее наглости. Подстрекаемый Римом (на заднем плане в берлинском варианте добавились развалины церкви), с благословения Уолл-стрит и Голливуда, следуя приказам Москвы, этот варварский червь Баранов, урожденный Гольдфарб, заполз в сердце немецкой культуры в попытке дискредитировать моральное здоровье нации и опозорить институты охраны правопорядка. Это пацифистская атака на нашу армию, наш флот, нашу авиацию, злобная клевета варвара с востока на наших прекрасных женщин, праздник похотливой так называемой психологии венского гетто, зловонные пары парижской клоаки, набитой французскими дегенератами, жалкий аргумент английского министерства иностранных дел в защиту кровавого империализма. Со свойственным нам достоинством мы, немцы, представители мира немецкой культуры, мы, носители гордой и святой немецкой души, должны сплотиться и потребовать – в уважительной форме, сдержанным тоном – удаления этого гангренозного нароста с тела нации. Хайль Гитлер!»

В ту ночь в постели с Анной, которой чудом удалось получить трехдневный отпуск, чтобы встретить супруга, выслушивая ее очередную двенадцатичасовую лекцию, Баранов чуть ли не с нежностью вспоминал сравнительно деликатные фразы критика из «Тагеблатт».

Утром он встретился с Суварниным. Критик отметил, что его друг, пусть месяц в гестапо и дался ему нелегко, обрел внутреннее спокойствие, ибо душа его освободилась от гнетущей ноши. Несмотря на ночь словесной порки, которую он только что пережил, несмотря на тридцать дней полицейского произвола, выглядел Баранов свежим и отдохнувшим, словно отлично выспался.

– Не следовало тебе рисовать эту картину. – В голосе Суварнина звучал мягкий упрек.

– Знаю, – кивнул Баранов. – Но что я мог поделать? Все произошло помимо моей воли.

– Хочешь совет?

– Да.

– Уезжай из страны. Быстро.

Но Анне Германия нравилась, и она, не сомневаясь, что вновь пробьется наверх, отказалась. А о том, чтобы уехать без нее, Баранов не помышлял. В последующие три месяца ему дважды досталось на улице от неких патриотично настроенных молодых людей; мужчину, который жил в трех кварталах и внешне отдаленно напоминал Баранова, пятеро парней по ошибке ногами забили до смерти; все его картины собрали и публично сожгли; уборщик обвинил Баранова в гомосексуальных наклонностях, и суд после четырехдневного процесса вынес ему условный приговор; его арестовали и допрашивали двадцать четыре часа, после того как поймали рядом с Канцелярией с фотокамерой, которую он нес в ломбард. Фотокамеру конфисковали. Все эти происшествия не поколебали решимости Анны остаться в Германии, и лишь когда суд начал рассматривать иск о стерилизации Баранова для исключения угрозы чистоте немецкой расы, она в снежный буран пересекла с ним границу Швейцарии.

Барановым потребовалось больше года, чтобы добраться до Америки, но, шагая по Пятьдесят седьмой улице города Нью-Йорка, глядя в витрины галерей, в которых мирно уживались полотна самых разных стилей – от мрачного сюрреализма до сахарного натурализма, – Сергей чувствовал, что стоило пережить все обрушившиеся на него беды и невзгоды, ибо благодаря им он наконец-то ступил на эту Землю Обетованную. На первой же неделе, переполненный благодарностью и эмоциями, он подал прошение о предоставлении ему и Анне американского гражданства. Демонстрируя верность традициям новой родины, даже отправился на матч «Никербокеров»⁵ и честно отсидел его от начала и до конца, хотя так и не понял, что, собственно, делали игроки около второй базы. Из чувства патриотизма пристрастился к коктейлю «Манхэттен», справедливо полагая его национальным напитком.

⁵ «Никербокеры» – профессиональная бейсбольная команда.

Следующие несколько лет стали счастливейшими в жизни Барановых. Критики и владельцы галерей сошлись во мнении, что этот никогда не повышающий голоса русский придал местным помидорам и огурцам загадочный европейский привкус, окружил их ореолом меланхолии и классицизма. В результате все картины Баранова уходили по хорошим ценам. Крупная винодельческая компания использовала гроздь винограда, нарисованную Барановым, на своих этикетках и в рекламных объявлениях. Натюрморт с корзиной апельсинов приобрела калифорнийская торговая фирма, на долю которой приходилась треть оборота цитрусовых, выращиваемых в Солнечном штате. Картину увеличили в размерах, и вскоре она уже красовалась на рекламных щитах по всей стране. Баранов купил небольшой домик в Джерси, неподалеку от Нью-Йорка, и когда Суварнин появился в Америке (из Германии он бежал под страхом смерти, потому что, крепко выпив, как-то сказал, о чем незамедлительно доложили в гестапо, что немецкая армия не сможет дойти до Москвы за три недели), с радостью пригласил критика пожить у них.

Новое восхитительное ощущение свободы так вскружило Баранову голову, что он даже решился нарисовать ню, очень розовую и толстомясую, разумеется, по памяти. Но Анна, к тому времени ее взяли на работу в многотиражный информационно-публицистический журнал как специалиста по коммунизму и нацизму, в этой ситуации повела себя очень круто. Ножом для резки хлеба разобралась с картиной, а потом уволила кухарку, розовощекую, крепко сбитую девушку-чешку, несмотря на то что та, пытаясь сохранить за собой работу, пошла к уважаемому гинекологу, который подтвердил ее девственность.

В Америке, где мужчины давно привыкли слушать женщин и где коллеги как завоженные внимали бурлящему словесному потоку, срывающемуся с губ Анны, к ней пришел успех, в сравнении с которым ее европейские достижения казались каплей в море. К окончанию войны главный редактор журнала, в котором она работала, передал в ее ведение отделы политики, медицины для женщин, моды, книг и, разумеется, воспитания подрастающего поколения. Анна даже пристроила в журнал Суварнина, рецензентом кинофильмов. Он писал рецензии до осени сорок седьмого года, пока практически не ослеп.

Анна стала заметной фигурой и в Вашингтоне, где многократно давала показания перед важными комиссиями конгресса по самым различным вопросам, от пересылки запрещенной литературы по почте до результативности сексуального воспитания в общеобразовательных школах нескольких северных государств. Дело дошло даже до того, что однажды младший сенатор от одного из западных штатов в лифте ущипнул ее за левую ягодицу. Само собой, Анну приглашали на бесчисленные обеды, съезды, приемы, вечеринки, и всюду ее сопровождал верный Баранов. Вначале, живя в свободной атмосфере литературно-артистической Америки, Баранов напрочь лишился молчаливости, свойственной ему в последние годы жизни в Москве. Он часто смеялся, по первой же просьбе пел старые красноармейские песни, смешивал «Манхэттены» в домах друзей, охотно участвовал в дискуссиях на самые разные темы. Но через некоторое время красноречие Баранова начало давать сбои. Пережевывая арахис, односложно отвечая на вопросы, на всех общественных мероприятиях он стоял рядом с Анной, не сводил с нее глаз, ловя каждое слово, вслушивался в ее рассуждения о великом предназначении республиканской партии, современных театральных тенденциях и сложности американской конституции. Примерно в этот период у Баранова возникли проблемы со сном. Он похудел и начал работать по ночам.

Даже полуслепой, Суварнин видел, что происходит. И с нетерпением ждал великого дня. Заранее написал более чем трогательное эссе, вновь, как и в Москве, восславляющее гений друга. Суварнин принадлежал к тем писателям, которые не находят себе места из-за того, что хоть одно написанное ими слово остается неопубликованным. И тот факт, что волею судеб он не мог выразить распиравшие его чувства, подогревал нетерпение Суварнина. Кроме того, возможность вновь писать о живописи грела душу.

Как-то утром, после того как Анна уехала в город и в доме воцарилась тишина, Баранов зашел в комнату Суварнина.

– Я хочу, чтобы ты заглянул в мою мастерскую.

По телу критика пробежала дрожь. Пошатываясь, он вслед за Барановым пересек подъездную дорожку, разделявшую дом и амбар, который Баранов переоборудовал в мастерскую. Подслеповато щурясь, долго смотрел на огромное полотно.

– Это, это... – смущенно забормotal он, – это потрясающе! Вот. – Он достал из кармана несколько сложенных листков. – Посмотри, что я хочу сказать по этому поводу.

Дочитав хвалебное эссе, Баранов смахнул с глаз слезы. Потом шагнул к Суварнину и поцеловал его. На этот раз прятать шедевр не было никакой необходимости. Баранов осторожно скатал холст, положил в футляр и в сопровождении Суварнина поехал к своему арт-дилеру. Однако по молчаливой договоренности ни он сам, ни Суварнин ничего не сказали Анне.

Двумя месяцами позже Сергей Баранов стал новым героем мира живописи. Его арт-дилеру пришлось натянуть бархатные канаты, чтобы сдержать толпы, жаждущие взглянуть на зеленую ню. Эссе Суварнина оказалось бледной тенью тех похвал, которыми осыпали Баранова другие критики. Пикассо бесчисленное количество раз упоминался в одном предложении с Барановым, а некоторые даже ставили его в один ряд с Эль Греко. «Бонуит Теллер»⁶ выставил в витринах шесть зеленых ню, нарядив их в туфельки змеиной кожи и норковые манто. Барановский натюрморт «Виноград и местный сыр», который художник продал в 1940 году за двести долларов, на аукционе ушел за пять тысяч шестьсот. Музей современного искусства прислал своего представителя, чтобы уточнить детали ретроспективной выставки. Ассоциация «Мир доброй воли», в руководстве которой числились десятки политиков и капитанов бизнеса, обратилась с просьбой включить полотно в число основных экспонатов выставки американского искусства, которую ассоциация намеревалась показать за государственный счет в четырнадцати европейских странах. Даже Анна, которой, как обычно, никто не решился указать на сходство с моделью художника, осталась довольна картиной и целый вечер позволила Баранову говорить, ни разу не прервав его.

На открытии выставки американского искусства, которую развернули в Нью-Йорке, прежде чем отправить за океан, Баранов купался в лучах славы. Его фотографировали во всех позах – со стаканом «Манхэттена», жуящим канapé с копченой семгой, беседующим с женой посла, в окружении поклонников, взиравшим на свой шедевр. Он вознесся на сияющие вершины и, если бы в полночь за ним пришла смерть, умер бы счастливым. Более того, оглядываясь на тот вечер, Баранов горько сожалел, что он не стал в его жизни последним.

Ибо лишь неделей позже, в конгрессе, член палаты представителей, зорко следящий за статьями государственных расходов и разъяренный, по его словам, безответственными проектами администрации, транжирящей деньги налогоплательщиков на то, чтобы выставить эту мрачную пародию на искусство на обозрение союзников, потребовал провести полномасштабное расследование всей затеи с выставкой. Законодатель подробно описал главный экспонат вернисажа, зеленую ню, созданную выходцем из России. Картина характеризовалась как вызывающая тошноту мазня, инспирированная коммунистами, оскорбляющая американских женщин, наносящая удар по превосходству белой расы, атеистическая, психологическая, антиамериканская, подрывная, красно-фашистская, из тех, на которые конгрессмен не позволил бы смотреть своей четырнадцатилетней дочери, как в одиночку, так и рядом с матерью. Эта декадентская, призванная посеять презрение к Соединенным Штатам Америки в душах иностранцев, играющая на руку Сталину в «холодной войне» между Америкой и Советским Союзом работа являет собой пощечину героям берлинского воздуш-

⁶ «Бонуит Теллер» – один из самых дорогих магазинов женской одежды в Нью-Йорке.

ного моста, угрожает международной торговле, оскорбляет южных соседей. Ее появление следовало называть культурным гангстеризмом, она стала естественным итогом понижения требований, предъявляемых к иммигрантам, наглядным доказательством необходимости введения федеральной цензуры в средствах массовой информации и в киноиндустрии, катастрофическим последствием принятия Вагнеровского закона о трудовых отношениях⁷.

Далее события приняли лавинообразный характер. Сладкоголосый, придерживавшийся консервативных взглядов радиокomentатор, вещающий из Вашингтона, заявил, что именно патернализм нового курса в ответе за подобные безобразия, о чем он многократно предупреждал страну, и намекнул, что человек, из-под кисти которого вышла эта картина, проник в Соединенные Штаты нелегально: и самого художника, и женщину, выдающую себя за его жену, темной ночью доставила к американским берегам вражеская субмарина.

Несколько ведущих газет не оставили без внимания эту проблему, осветив как в переделах, так и в колонках новостей. Они направили на ферму Баранова своих наиболее скандальных репортеров светской хроники, чтобы взять интервью у главного действующего лица. Среди прочего репортеры доложили читателям, что самое почетное место в гостиной Барановых занимал самовар, а наружные стены переоборудованного под мастерскую амбара Баранов выкрасил в красный цвет. Один из издателей пожелал узнать, почему в коллекцию выставки не вошла ни одна из картин, украшавших обложку «Сэтердей ивнинг пост». Руководство Американского легиона⁸ выразило официальный протест в связи с отправкой картин, имеющих сомнительную художественную ценность, в страны, юноши которых совсем недавно храбро сражались с врагом, и указало, что Баранов – не ветеран.

Комиссия палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности повесткой вызвала для разбирательства обоих Барановых, издала распоряжение об установке подслушивающего устройства на их телефонный номер и наняла человека, знающего русский язык, для перевода сделанных записей на английский. На слушаниях выяснилось, что Баранов в 1917, 1918 и 1919 годах служил в Красной Армии, и Иммиграционную службу публично высекли за то, что она разрешает въезд в страну людям со столь темным прошлым.

Священники трех вероисповеданий начали сбор подписей под петицией, призывающей правительство запретить отправку картин в Европу, поскольку долгие годы войны и так основательно подорвали основы веры на этом многострадальном континенте. Многие газеты обошла цитата известного юриста, который заявил, что эксперты современной живописи утомили его и он сам может нарисовать картину почище зеленой нью, имея в своем распоряжении ведро краски для стен да кисть оклейщика обоев. Национальный журнал познакомил читателей с мнением психиатра, полагавшего, что нарисовать такую картину мог только человек, с юных лет страдающий из-за того, что мать отвергла его, психически неуравновешенный, с тенденцией к насилию, которая с годами становится все более выраженной. ФБР провело специальное расследование. Его агенты опросили семьдесят пять друзей Баранова и выяснили, что супружеская пара получает по подписке «Книги месяца», «Дом и сад» и «Дейли ньюс» и часто говорит на русском в присутствии слуг.

Одним дождливым вечером на лужайке Барановых сожгли крест, но, несмотря на дождь, от искр загорелся и сгорел дотла соседский туалет типа сортир. Разозленный сосед выстрелил из дробовика в сиамского кота Барановых. Две дробины пришлось доставать из задней правой лапы.

⁷ Роберт Фердинанд Вагнер (1877–1953) – государственный деятель, юрист. Сенатор от штата Нью-Йорк в 1927–1949 гг. Принял активное участие в разработке и проведении законодательства Нового курса в экономической и социальной областях, призванного смягчить последствия Великой депрессии.

⁸ Американский легион – военно-патриотическая, общественно-политическая организация, созданная в 1919 г. Защищает права ветеранов всех войн.

Местная Торговая палата предложила Барановым переехать в другое место, потому что они создают городу дурную славу, и именно в тот момент, когда ведутся переговоры о создании в городе филиала завода по производству сантехники.

Руководимая коммунистами группа борцов за гражданские права провела массовый митинг по сбору средств в поддержку Барановых, которые, однако, не захотели иметь с ними ничего общего. Борцы, в свою очередь, оскорбились, потребовали депортировать Барановых в Россию.

Министерство финансов, привлеченное поднявшимся шумом, проверило налоговые декларации Баранова за пять последних лет, обнаружило некоторые неувязки и прислало счет на восемьсот двадцать долларов, недоплаченных ранее. Новая, более тщательная ревизия документов на получение американского гражданства, поданных Барановыми, выявила, что миссис Баранова солгала, указывая свой возраст.

На радиошоу под названием «Что бы мы сделали с “Зеленой ню”?» аудитория встречала свистом каждое упоминание фамилии Баранова, а на следующий день начальник почтового отделения маленького массачусеттского городка объявил, что фреска со сборщиками клюквы и рыбаками, которую Баранов нарисовал в почтовом отделении по заказу УОР⁹, будет закрашена.

Волна праведного гнева не обошла стороной и Анну Баранову. Из-под ее руководства последовательно вывели отделы политики, медицины для женщин, книг, моды и, наконец, заботы о подрастающем поколении, после чего разрешили подать заявление об уходе.

Баранов все это время пребывал словно в густом тумане, более всего страшась долгих риторических порок, которым подвергала его жена с полуночи до восьми утра. Иногда, пряча лицо в поднятый воротник пальто, он шел в галерею, где до сих пор висела картина, и долго с печальным недоумением смотрел на нее. А когда директор галереи отвел его в сторону и не без сочувствия сообщил, что в силу сложившихся обстоятельств власти решили расформировать выставку и не посылать подготовленную коллекцию в Европу, Баранов заплакал.

В тот же вечер, в одиночестве, сгорбившись, он сидел на деревянном стуле посреди холодной мастерской. Шторы задернул, потому что у соседских мальчишек вошло в привычку бросаться камнями по движущимся в окнах теням. В руке Баранов держал маленький атлас мира, раскрытый на карте Карибского моря и Центральной Америки, но не смотрел в него.

Дверь открылась, вошел Суварнин. Молча сел на другой стул.

Наконец Баранов заговорил, не глядя на давнего друга:

– Сегодня я заходил в галерею. – Голос его дрожал. – Долго смотрел на картину. Может, это плод моего воображения, но вроде бы я заметил нечто странное.

– Что именно?

– Внезапно картина мне кого-то напомнила. Я думал и думал, кто бы это мог быть. И только теперь понял. Суварнин, – повернулся он к критику, – Суварнин, у тебя нет ощущения, что женщина на картине чем-то похожа на мою жену Анну?

Суварнин какое-то время молчал. Задумчиво закрыл ослепленные кинематографом глаза, потер нос.

– Нет, – твердо ответил он. – Ни в малейшей степени.

Баранов чуть улыбнулся:

– Ты меня успокоил. Для нее это был бы ужасный удар.

Он уставился на маленькие красные и синие, греющиеся под ярким солнцем страны, омываемые теплыми водами.

⁹ УОР (Управление общественных работ) – федеральное независимое ведомство, созданное в 1935 г. по инициативе президента Ф. Рузвельта и ставшее основным в ходе трудоустройства безработных при осуществлении Нового курса.

– Суварнин, ты бывал на Карибах?

– Нет.

– Интересно, – не отрывался от карты Баранов, – какие фрукты человек может рисовать в Коста-Рике?

Суварнин вздохнул, поднялся.

– Пойду собирать вещи. – И скрылся за дверью, оставив Баранова в холодной студии.

Художник по-прежнему разглядывал яркую карту.

Солнечные берега реки Леты

Хью Форестер помнил все. Даты битвы у Нью-Колд-Харбора (31 мая – 12 июня 1864 года), фамилию учительницы в первом классе (Вебер, рыжеволосая, вес сто сорок пять фунтов, без ресниц), рекордное число страйк-аутов в одной игре Национальной лиги (30 июля 1933 года, «Сент-Луисские кардиналы» против «Чикагских шенков»), пятую строчку стихотворения «Жаворонку» (Шелли, «С бесхитростным искусством свой сердечный пыл»¹⁰), адрес самой первой девушки, которую поцеловал (Пруденс Коллингвуд, дом 248 по Юго-восточной Храмовой улице, Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 14 марта 1918 года), даты трех разделов Польши и разрушения Храма (1772, 1793, 1795 и 70-е годы после Рождества Христова), количество кораблей, захваченных адмиралом Нельсоном в Трафальгарской битве (двадцать), профессию героя романа Фрэнка Норриса «Мактиг» (дантист), фамилию человека, которому присудили первую в истории Пулитцеровскую премию в 1925 году (Фредерик Л. Пакссон), кличку жеребца, выигравшего дерби в Эпсоме в 1923 году (Папирус), номер в призывном списке, который он вытянул в 1940 году (4726), свое верхнее и нижнее кровяное давление (сто шестьдесят пять на девяносто, повышенное), группу крови (первая) и остроту зрения (плюс два на правый глаз и плюс три на левый), слова босса, когда тот уволил его с первой работы («На твоё место я поставлю машину»), слова жены, когда он сделал ей предложение («Я хочу жить в Нью-Йорке»), полное имя Ленина (Владимир Ильич Ульянов) и причину смерти Людовика Четырнадцатого (гангрена ноги).

Он также помнил все виды птиц, средние глубины судоходных рек Америки, имена, полученные при рождении и после вступления на престол всех пап, включая Авиньонских, средние очки в бэттинге Гарри Хайлманна и Хайни Гроха, даты полных солнечных затмений со времен царствования Карла Великого, скорость звука, местонахождение могилы Д. Г. Лоренса, все рубаи Омара Хайяма, скорость стрельбы автоматической винтовки Браунинга, военные операции Цезаря в Галлии и Британии, имя пастушки в пьесе «Как вам это нравится» и количество денег, лежащих на его счете в «Кемикэл бэнк энд траст» утром 7 декабря 1941 года (2367 долларов и 58 центов).

И вот однажды, поднявшись утром, он забыл, что этот день – очередная, двадцать четвертая годовщина свадьбы (25 января). Его жена, Нарцисс, как-то странно смотрела на него в то утро за завтраком, но он читал газету, и вчерашние новости вызывали у него невеселые мысли («Нет, никогда в Вашингтоне не будет порядка») – он так ничего и не заметил. Тем же утром пришло письмо от их сына, который учился в университете Алабамы, но Хью сунул его в карман не читая. Письмо было адресовано ему лично, и он знал, что сын просит денег. Когда Мортон просто рассказывал о своих учебных буднях, на конверте красовались имена обоих родителей. Сын учился в Алабаме, потому что с таким аттестатом не мог подавать документы в Йель, Дартмут, Уильямс, Нью-Йоркский колледж или университет Колорадо.

Нарцисс спросила, будет ли он есть рыбу на обед, и он ответил, что да. Жена сказала, что рыба преступно дорога, и Хью вновь ответил утвердительно. Она поинтересовалась, все ли с ним в порядке, и он в третий раз ответил «да», поцеловал ее, вышел из квартиры, направился к станции подземки на Двести сорок второй улице, всю дорогу до работы стоял, продолжая читать утреннюю газету. Родители Нарцисс какое-то время жили во Франции, вот и называли дочь таким именем. Но он уже к нему привык. Читая газету в переполненном вагоне, Хью мечтал о том, чтобы большинство людей, о которых писали газеты, исчезли.

Форестер пришел на работу первым, прошел в свой закуток-клетушку, сел за стол, наслаждаясь видом пустых столов и тишиной. Вспомнил, как за завтраком Нарцисс дважды

¹⁰ Перевод В. Д. Меркурьевой.

дернула носиком, словно собиралась заплакать. Он задался вопросом почему, но думал об этом недолго, зная, что в должное время ему обязательно обо всем расскажут. Нарцисс плакала от пяти до восьми раз в месяц.

Компания, в которой он работал, готовила к печати однотомную энциклопедию, абсолютно полную, на тонкой печатной бумаге, изготовленной из волокон бамбука, с семью с половиной сотнями иллюстраций. Вроде бы том этот собирались назвать «Гигантской карманной энциклопедией», но окончательного решения издатель еще не принял. Хью корпел над буквой «С». В этот день в его планах значились Соавторство, Содалит, Сорренто и Софокл. Он помнил, что в Сорренто жил Максим Горький, а из ста двадцати трех пьес Софокла до наших времен дошло только семь. Работа Хью нравилась, за исключением тех моментов, когда в закутке появлялся мистер Горслийн. Владелец компании и главный редактор, он обожал стоять за спинами сотрудников и молчаливо наблюдать за их работой. Когда приходил мистер Горслийн, у Хью возникало ощущение, что кровь в паху замедляла бег.

Седовласый мистер Горслийн, с лицом и фигурой пикадора, всегда в твидовом костюме, начинал с календарей. Издательский дом и сейчас издавал множество календарей. Порнографических, религиозных и тематических. При подготовке новых календарей Хью обязательно вносил в работу ощутимую лепту, потому что помнил дату смерти Оливера Кромвеля (3 сентября 1658 года), день, когда Маркони передал первое сообщение через Атлантический океан (12 декабря 1901 года) или когда первый пароход приплыл из Нью-Йорка в Олбани (17 августа 1807 года).

Мистер Горслийн ценил удивительный талант Хью и проявлял прямо-таки отеческую заботу о его здоровье. Главный редактор свято верил в гомеопатию и полезные свойства сырых овощей, а особенно баклажанов. Он также терпеть не мог очков и выбросил свои в 1944 году, прочитав книгу о комплексах упражнений для глазных мышц. В 1948 году он и Хью убедили на семь месяцев отказаться от очков. Хью начали мучить головные боли, от которых мистер Горслийн лечил его каким-то гомеопатическим средством. После приема шариков у Хью возникало ощущение, что в его голову попал целый заряд мелкой дроби. И теперь, встав позади Хью, мистер Горслийн хищно смотрел на его очки, совсем как итальянский генерал, обзирающий еще независимый Триест. Здоровье Хью, пусть и не столь уж слабое, оставляло желать лучшего. Он часто простужался, а после ленча глаза наливались кровью. Мистер Горслийн все замечал, включая и то, что в холодную погоду Хью каждый час по несколько раз бегал в туалет. В такие дни мистер Горслийн нарушал привычное молчание и рассказывал о диетах, призванных очистить носовые каналы, снять перенапряжение глаз и улучшить работу почек.

В то утро мистер Горслийн заходил в комнатку Хью дважды. Первый раз молча постоял за его стулом пять минут, потом спросил: «Все еще на содалите?» И вышел. Второй, постояв восемь минут, изрек: «Форестер, ты толстеешь. Белый хлеб». И отбыл.

Оба раза у Хью возникло знакомое ощущение в паху.

Перед самым ленчем на работу к Хью забежала его дочь. Поцеловала со словами: «Поздравляю с праздником, папуля» – и протянула продолговатую коробочку, перевязанную цветной лентой. Двухлетняя Клара уже пять лет как вышла замуж, но по-прежнему называла его папулей. Хью в некотором недоумении открыл коробочку. В ней лежала ручка с золотым пером. Четвертая из подаренных Кларой за последние шесть лет: две он получил на дни рождения, третью – на Рождество. Дочь не унаследовала отцовской памяти.

– Это по какому же поводу? – спросил Хью.

– Папуля! – воскликнула Клара. – Ты шутишь.

Хью уставился на ручку. Он знал, что день этот определенно не Рождество (25 декабря), а сам он появился на свет летом (12 июня), а не зимой.

– Не может быть! – изумилась дочь. – Неужели ты *забыл*?!

Хью вспомнил лицо Нарцисс за завтраком, дернувшийся носик.

– Боже... – выдохнул он.

– Купи цветы, прежде чем появишься на пороге, – наказала ему Клара. Потом озабоченно всмотрелась в отца. – Папуля, ты в порядке?

– Разумеется, в порядке, – раздраженно бросил Хью. – Все когда-нибудь забывают день свадьбы.

– Только не ты, папуля.

– Я тоже. В конце концов, я человек. – Но случившееся потрясло Хью до глубины души.

Он открыл колпачок ручки и, низко опустив голову, написал в блокноте большими буквами: «ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ». Теперь у него было восемь перьевых ручек. – То, что мне нужно, Клара. – Он убрал ручку в карман. – Премного тебе благодарен.

– Ты не забыл, что обещал пригласить меня на ленч, не так ли? – Клара позвонила днем раньше, чтобы договориться о ленче, потому что у нее, как она сказала, возникла необходимость обсудить с ним серьезные проблемы.

– Разумеется, нет, – немного резко ответил Хью. Надел пальто, и они вышли из его закутка.

Хью заказал камбалу, но тут же передумал и остановился на бараньей отбивной, вспомнив слова Нарцисс о том, что на обед будет рыба. Клара заказала жареную курицу, салат «Уолдорф» и бутылку вина, сказав, что после бутылки вина день бежит веселее. Хью не понимал, почему двадцатидвухлетняя женщина может изгнать грусть из второй половины дня лишь выпив бутылку вина, но предпочитал не вмешиваться.

Пока Клара изучала винную карту, Хью достал из кармана письмо Мортон, прочитал. Сын просил прислать двести пятьдесят долларов. Вроде бы он одолжил у соседа по общежитию «плимут», а после танцев влетел в канаву и ремонт обошелся в сто двадцать пять долларов. Рядом с ним сидела девушка, которая сломала нос. Доктор нос выправил, но прислал счет на сто долларов, который Мортон пообещал оплатить. Десять долларов требовались ему на две книги по этике, а еще пятнадцать, как он написал, «чтобы получилась круглая цифра». Хью сунул письмо в карман, ничего не сказав Кларе. «В прошлом году, – подумал он, – было хуже». Тогда Мортон едва не отчислили, поймав на списывании на экзамене по математике.

За курицей и вином Клара рассказала отцу о своих проблемах. В основном они вертелись вокруг ее мужа, Фредди. Она никак не могла решить, уйти от него или родить ребенка. Она не сомневалась, что у Фредди есть другая женщина на Восточной Семьдесят восьмой улице, с которой он обычно встречается во второй половине дня, но, прежде чем сделать первый шаг в том или ином направлении, она хотела, чтобы Хью поговорил с Фредди как мужчина с женщиной и выяснил, какие у того намерения. Когда она начинала высказывать мужу свои подозрения, он просто уходил из дома и ночевал в отеле.

Если дело шло к разводу, она хотела бы получить от Хью тысячу долларов, необходимых для того, чтобы прожить шесть недель в Рино, поскольку Фредди уже сказал ей, что не даст на эту ерунду ни цента. А кроме того, сейчас Фредди испытывал некоторые финансовые затруднения. Он допустил перерасход по своему счету в автомобильном агентстве, на которое работал, и ему урезали лимиты. Если же они заведут ребенка, доктор, у которого Клара хотела бы наблюдаться, запросит восемьсот долларов, еще в пятьсот обойдется пребывание в больнице, но она знала, что и в этом могла рассчитывать на папулю.

Она пила вино и говорила, тогда как Хью ел молча. Фредди уже пять месяцев не платит членские взносы в гольф-клубе, и его вышибут оттуда, если он не внесет деньги до воскре-

сенья. Это действительно очень важно, потому что от такого позора не отмоешься, и Фредди рвет и мечет с того самого момента, как получил письмо от секретаря клуба.

– Я ему сказала, – на глазах Клары заблестели слезы, – что готова пойти работать, но он заявил, что скорее умрет, чем даст людям повод говорить, будто он не способен содержать семью. И такая точка зрения достойна уважения. Еще он сказал, что не может обращаться к тебе за каждым центом. Это тоже говорит в его пользу, не так ли?

– Да. – Хью помнил, что за последние четыре года зять одолжил у него три тысячи восемьсот пятьдесят долларов и не вернул ни цента. – Он знает, о чем ты сегодня собиралась поговорить со мной?

– В общих чертах.

Клара налила себе вина. Выискивая в салате кусочки яблока и орехи, сказала, что ей не очень-то хочется обременять отца своими проблемами, но он – единственный в мире человек, суждениям которого она полностью доверяет. Он такой умный, здравомыслящий, находчивый, а сама она даже не знает, любит Фредди или нет, понятия не имеет, как жить дальше, ей противно смотреть, как муж все время мучается из-за нехватки денег, и она хочет получить от Хью прямой ответ на вопрос: считает ли он, что она в свои двадцать два года готова стать матерью? К тому времени когда они допили кофе, Хью пообещал в самое ближайшее время поговорить с Фредди о женщине с Семьдесят восьмой улицы, оплатить как поездку в Рино, так и услуги акушера-гинеколога, и в принципе согласился дать денег на уплату членских взносов в гольф-клубе.

По пути на работу Хью купил Нарцисс сумочку из крокодиловой кожи за шестьдесят долларов и, выписывая чек и протягивая его продавщице, недобрым словом, разумеется мысленно, помянул инфляцию.

После ленча работал он с трудом, потому что мысли его занимала Клара (корь в четыре года, годом позже свинка, корректирующие скобки на зубах с одиннадцати до пятнадцати, прыщи на лбу с четырнадцати до семнадцати). Так что с Сорренто дела продвигались очень медленно. Мистер Горслийн застывал за его спиной дважды. Первый раз спросил: «Все еще в Сорренто?» Второй – удивился: «Да кто захочет знать о том, что русский коммунист написал там книгу?»

В дополнение к привычным ощущениям в паху в этот день Хью отметил, что у него еще и учащалось дыхание, когда мистер Горслийн застывал за спиной.

После работы он зашел в маленький бар на Лексингтон-авеню, в котором трижды в неделю встречался с Джин. Она его ждала, допивая первый стаканчик виски. Он сел рядом, приветствуя, сжал руку. Они любили друг друга уже одиннадцать лет, но он поцеловал ее лишь однажды (в День победы), потому что когда-то она училась с Нарцисс в колледже в одной группе и еще на ранних стадиях своего романа они решили не опускаться до греха.

Джин, высокая, величественного вида женщина, выглядела очень молодо, возможно, потому, что жизнь ее не баловала и приходилось вертеться. Они встречались в маленьких грустных барах на исходе дня, тихо, с ностальгическими нотками говорили о том, что все могло бы быть по-другому. На начальном этапе романа разговор у них шел веселее, на полчаса, а то и дольше к Хью возвращались оптимизм и уверенность, присущие ему в годы учебы в колледже, где он считался одним из лучших студентов, до того как ему стало ясно, что блестящая память, талант, ум и удача совсем не обязательно идут рука об руку.

– Я думаю, в самое ближайшее время мы должны положить этому конец, – говорила Джин, пока Хью маленькими глотками пил виски. – Ни к чему это привести не может, а меня все больше мучает совесть. Я чувствую себя виноватой. А ты?

Ранее у Хью даже не возникало таких мыслей. Вину он мог чувствовать разве что за поцелуй в День победы. Но после слов Джин он вдруг понял, что отныне чувство вины не покинет его, оно будет возникать всякий раз при их встречах в баре.

– Да. – Голос его переполняла печаль. – Наверное, ты права.

– Я собираюсь уехать на лето, – продолжала Джин. – В июле. А по возвращении больше не буду с тобой встречаться.

Хью тоскливо кивнул. До лета еще пять месяцев, но ощущение пустоты возникло мгновенно.

Ему пришлось стоять и по дороге домой. Народу в вагон набилось столько, что он даже не мог перевернуть страницу газеты. Хью читал и перечитывал одну и ту же статью, думая: «Как же хорошо, что я не президент».

В вагоне было жарко, зажатый среди других пассажиров, он чувствовал себя толстым и неуклюжим и вдруг понял, что действительно набрал лишний вес. Это ему совершенно не нравилось. А потом, перед тем как поезд остановился на Двести сорок второй улице, он вспомнил, что оставил сумочку из крокодиловой кожи на своем столе. От ужаса пересохло в горле и задрожали колени. Не хотелось даже думать о том, что его ждет дома, если он переступит порог с пустыми руками. Укоризненные взгляды, невысказанные упреки, наверняка слезы. И дело было совсем не в том, что он не доверял женщине, которая убирала его кабинет и однажды (3 ноября 1950 года) украла из верхнего правого ящика, в этом он мог поклясться, марки авиапочты на сумму один доллар тридцать центов. Нет, стоя в уже опустевшем вагоне, Хью пришлось признать, что за один-единственный день он дважды что-то забыл. А ведь он не мог припомнить, чтобы с ним такое случилось.

Он коснулся головы кончиками пальцев, надеясь найти этому хоть какое-то разумное объяснение. Решил бросить пить. Выпивал он всего пять или шесть стаканчиков виски в неделю, но частичная амнезия, вызываемая употреблением алкоголя, – факт, доказанный медициной. Возможно, у него исключительно низкий порог толерантности.

Вечер прошел, как он и ожидал. На станции он купил для Нарцисс розы, но ничего не сказал о сумочке из крокодиловой кожи, разумно рассудив, что это признание будет воспринято как новое оскорбление. Хью даже предложил поехать в город и отпраздновать годовщину их свадьбы в ресторане, но Нарцисс весь день жалела себя и настолько вошла в образ мученицы, что настояла на домашнем обеде, и они съели рыбу, которая стоила девяносто три цента за фунт. К половине одиннадцатого Нарцисс уже плакала.

Спал Хью плохо, наутро приехал на работу рано, сумочка красовалась в центре его стола, куда ее поставила уборщица, но настроение у него ничуть не улучшилось. В этот день он забыл названия двух трагедий Софокла («Эдип в Колоне», «Трахинянки и Филоктет») и телефон своего дантиста.

А потом пошло-поехало. Участились походы Хью в библиотеку, расположенную на тринадцатом этаже. Всякий раз он выходил из своего закутка с замиранием сердца, страшаясь изумленных взглядов сослуживцев. Пришел день, когда он забыл названия всех пьес Сарду, площадь территории Санто-Доминго, симптомы силикоза, определение синдрома и причину, по которой умерщвлял плоть святой Симеон Столпник.

В надежде, что все наладится, он никому не сказал ни слова, даже Джин, при встрече в маленьком баре на Лексингтон-авеню.

Мистер Горслийн все дольше и дольше простаивал за спиной Хью, а тот сидел, прикидываясь, что работает, прикидываясь, что находится в отличной форме, хотя лицо прорезали морщины усталости, а мозг напоминал кусок замороженного мяса, обгрызенного волком.

Однажды мистер Горслийн пробормотал что-то насчет гормонов, потом в половине пятого предложил Хью уйти домой пораньше. Хью проработал у мистера Горслийна восемнадцать лет, и впервые хозяин предлагал ему уйти домой раньше. Когда мистер Горслийн выходил из закутка Хью, он сидел за столом, тупо уставившись в разверзшуюся перед ним пропасть.

Как-то утром, через несколько дней после годовщины свадьбы, Хью забыл название своей газеты. Стоял перед киоском, глядя на выложенные номера «Таймс», «Трибюн», «Ньюс» и «Миррорз», и все они казались ему близнецами. Он знал, что последние двадцать пять лет каждое утро покупал одну и ту же газету, но ни названия, ни заголовки не подсказывали, какую именно. Один из заголовков аршинными буквами сообщал о том, что вечером должно состояться выступление президента. Внезапно Хью осознал, что не помнит фамилии президента, не помнит, республиканец он или демократ. В то же мгновение волна наслаждения прокатилась по его телу. Но он знал, что это ощущение обманчиво, совсем как экстаз Т. Э. Лоуренса, который тот вроде бы испытал, когда турки едва не забили его до смерти.

Хью купил «Холидей» и в вагоне подземки разглядывал фотографии далеких городов. В то утро он забыл, когда Джон Л. Салливан выиграл звание чемпиона мира в тяжелом весе, а также фамилию изобретателя подводной лодки. Ему пришлось сходить в библиотеку, потому что он больше не помнил, где находится город Сантандер – в Чили или Испании.

После ленча, когда он примерно час сидел за столом, уставившись на свои руки (ему казалось, что между пальцами бегают мыши), в его закуток вошел зять.

– Привет, Хьюи, старичок, – поздоровался он. С момента своего появления в доме Форестеров зять по отношению к Хью вел себя неподобающе фамильярно.

Хью встал, сказал: «Привет...» – и осекся. Он смотрел на своего зятя. Знал, что это его зять. Знал, что перед ним муж Клары. Но был не в состоянии вспомнить его имени. И второй раз за день испытал такое же наслаждение, как у газетного киоска, когда не мог вспомнить фамилии и партийной принадлежности президента Соединенных Штатов Америки. Только на этот раз наслаждение не исчезло столь быстро. Оно длилось, длилось и длилось, пока Хью пожимал руку зятя и спускался с ним в лифте. Наслаждение осталось при нем и в баре по соседству, где он купил своему зятю три мартини.

– Хьюи, старичок, – заговорил зять, ополовинив третий мартини, – давай приступим к делу. Клара сказала мне, что ты хотел о чем-то со мной поговорить. Выкладывай, старичок, и покончим с этим. Что тебя гложет?

Хью пристально смотрел на сидевшего перед ним мужчину, лихорадочно копался в памяти, но и представить себе не мог, что могло его связывать с этим человеком.

– Нет, – наконец выдал он. – Ничего меня не гложет.

Зять в недоумении вытаращился на Хью, а он, что-то напевая себе под нос, улыбался официантке. На улице, когда они вдруг остановились, зять откашлялся.

– Хьюи, старичок, как насчет того... – Но Хью крепко пожал ему руку и бодро зашагал прочь, пребывая в прекрасном расположении духа.

Однако на работе ему хватило одного взгляда на заваленный бумагами стол, чтобы хорошее настроение бесследно исчезло. Он уже добрался до буквы «Т», и многочисленные бумажки и две стопки книг напомнили ему о том, что он забыл многие факты жизни Тацита и просто не знает, кто такой Тэн. На одном из листков он заметил написанные его почерком дату и первое слово письма: «Дорогой...»

Он смотрел на листок и пытался вспомнить, кому же он собирался его написать. Минут через пять до него дошло: он таки решил написать сыну и вместе с письмом отправить ему чек на двести пятьдесят долларов. Сунул руку во внутренний карман за чековой книжкой. Не нашел. По одному выдвинул и внимательно осмотрел все ящики стола. Не обнаружил чековой книжки и там. Потрясенный – впервые в жизни он куда-то задевал чековую книжку, – решил позвонить в банк и попросить прислать ему новую. Снял трубку и тупо уставился в диск: забыл телефонный номер банка. Положил трубку и раскрыл телефонный справочник на букве «Б». С трудом, горло пересохло, сглотнул. Забыл название своего банка. Посмотрел на страницу с банками. Все названия казались знакомыми, выделить нужное не представлялось возможным.

Он закрыл справочник, поднялся, подошел к окну. Два голубя сидели на подоконнике, похоже, очень замерзшие. В доме напротив стоял у окна лысый мужчина, курил и поглядывал вниз, словно прикидывал, выпрыгнуть ему сейчас или немного подождать.

Хью вернулся к столу, сел. Может, это знак свыше, подумал он. Может, пропажа книжки означала, что в отношениях с сыном ему следует быть построже. Пусть сам расплачивается за свои ошибки. Он взялся за ручку, чтобы дописать письмо в Алабаму. «Дорогой...» – прочитал на листке. Долго смотрел на слово. Завинтил колпачок и убрал ручку в карман. Он не помнил имени сына.

Надел пальто и вышел, хотя часы показывали только три двадцать пять. Легким шагом направился к музею, с каждым пройденным кварталом настроение у него улучшалось. И когда Хью поравнялся с музеем, душа его пела, как у человека, который поставил сто долларов на победителя при ставке четырнадцать к одному. В музей отправился к египтянам. Он давным-давно собирался посмотреть на египтян, но все не мог выбрать времени.

Пройдясь по залам Древнего Египта, Хью пришел в неописуемый восторг. И домой не ехал – летел, пребывая на седьмом небе. На газетный киоск даже не посмотрел. Какой смысл раскрывать газету, если он не узнавал ни одну из упомянутых в ней фамилий? С тем же успехом он мог читать «Синд обсервер», издающуюся в Карачи, или сонорскую «Эль Мундо». Без газеты дальняя дорога не так уж и утомляла. Хью смотрел на пассажиров. Он перестал читать о том, что его сограждане творят друг с другом, а потому окружающие казались более интересными, более симпатичными.

Разумеется, эйфорию сняло как рукой, как только он открыл входную дверь. В последние дни у Нарцисс вошло в привычку пристально смотреть на него по вечерам, так что при разговорах ему приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Он не хотел, чтобы Нарцисс узнала о случившемся с ним, не хотел, чтобы она волновалась, пыталась его вылечить.

Весь вечер он слушал граммофон, но забыл про то, что надо менять пластинку. По ее окончании срабатывала система автоматического включения, и музыка начинала звучать вновь. Он семь раз прослушал Второй концерт Сен-Санса для фортепьяно, прежде чем Нарцисс пришла из кухни и со словами «Я схожу с ума» выключила проигрыватель.

Спать он лег рано. Слышал, как на соседней кровати плакала Нарцисс. Третий раз за месяц. Значит, всхлипывания в этом месяце ему предстояло услышать еще от двух до пяти раз. Это он помнил.

На следующий день после ленча он занимался Талейраном. Низко склонившись над столом, медленно, но верно продвигался вперед, пока не почувствовал, что за спиной кто-то стоит. Развернулся. Седоволосый мужчина в твидовом костюме не мигая смотрел на него.

– Слушаю, – резко бросил Хью. – Вы кого-то ищете?

На лице мужчины отразилось изумление, он густо покраснел и вышел, громко хлопнув дверью. Хью с недоумением пожал плечами и вернулся к Талейрану.

После работы он спускался вниз в переполненном лифте, в вестибюле толпа клерков и секретарей штурмовала двери, спеша по своим делам. У выхода стояла очень симпатичная девушка. Еще издали она улыбнулась Хью и помахала ему рукой. На мгновение он остановился, польщенный вниманием такой красавицы, и едва не улыбнулся в ответ. Но он торопился на свидание с Джин и полагал, что уже староват для подобных амуров, поэтому с каменным лицом проследовал мимо. При этом он вроде бы услышал печальный взглас, в котором ему послышалось слово «папуля», но он знал, что к нему это не относится, и даже не обернулся.

Вышел на Лексингтон-авеню, наслаждаясь тихим зимним вечером, и повернул на север. Миновал два бара и, лишь приближаясь к третьему, сбавил шаг. Повернул назад, вглядываясь в витрины баров. Все на один манер, хромированная стойка, неоновые огни. Еще один бар находился на противоположной стороне улицы. Точно такой же. Хью вошел, но

Джин там не было. У стойки заказал виски, спросил бармена: «В последние полчаса сюда не заходила одинокая дама?»

Бармен задумчиво посмотрел в потолок.

– Как она выглядит? – спросил он.

– Она... – Хью замолчал. Пригубил виски. – Не важно. – Положил на стойку долларовую бумажку и вышел.

К станции подземки он шагнул в превосходном настроении, совсем как в тот день, когда в одиннадцать лет выиграл забег на сто ярдов. Случилось это 9 июня 1915 года на ежегодных легкоатлетических соревнованиях в школе Бригама Янга в Солт-Лейк-Сити.

Настроение это, естественно, улетучилось, как только Нарцисс поставила на стол супницу. Глаза у нее припухли – очевидно, она плакала во второй половине дня, чем немало его удивила: ранее в одиночестве Нарцисс никогда не плакала. За обедом, зная, что Нарцисс пристально наблюдает за ним, Хью вновь почувствовал, будто между пальцами бегают мыши. После обеда она не выдержала:

– Ты меня не проведешь. У тебя другая женщина. Никогда не думала, что такое может случиться со мной.

Отходя ко сну, Хью чувствовал себя пассажиром полупустого сухогруза, попавшего в зимний шторм неподалеку от мыса Хаттерас.

Проснулся он рано, навстречу ясному зимнему дню. Понежился в теплой постели. Из соседней кровати доносился какой-то шум, и он повернул голову. Увидел спящую женщину. Среднего возраста, с бигуди на голове. Она чуть похрапывала, и Хью мог поклясться, что никогда раньше ее не видел. Он тихонько встал, оделся и вышел в солнечный день.

Как автомат, направился к станции подземки. Понаблюдать за людским потоком, вливающимся в поезда, понимая, что и ему надо ехать вместе с остальными. Где-то южнее находился город, там, на узкой улице, стояло высокое здание, в котором его ждали. Но Хью отдавал себе отчет в том, что найти это здание не сможет, как бы ни старался. Здания теперь, внезапно подумал он, очень похожи одно на другое.

Выйдя из станции подземки, Хью быстрым шагом направился к реке. Вода блестела под солнцем, у берегов ее схватил ледок. Мальчишка лет двенадцати, в теплом пальто из шотландки и шерстяной шапочке, сидел на скамье, не отводя взгляда от реки. Школьные учебники, перевязанные кожаным ремнем, лежали у его ног на замерзшей земле.

Хью присел рядом.

– Хорошее утро, – отметил он.

– Хорошее, – согласился мальчишка.

– И чем ты тут занимаешься? – любопытствовал Хью.

– Считаю корабли, – ответил мальчишка. – Вчера насчитал тридцать два. Кроме паромов. Паромы я не считаю.

Хью кивнул. Сунул руки в карманы и уставился на реку. До пяти часов вечера он и мальчишка насчитали сорок три корабля, кроме паромов. Лучшего дня в своей жизни Хью припомнить не мог.

Как принято во Франции

Беддоуз прилетел из Египта утром и в свой отель прибыл около одиннадцати. Поздоровался за руку с консьержем и сказал ему, что поездка прошла отлично, но иметь дело с египтянами просто невозможно. От консьержа он узнал, что в городе, как обычно, полно приезжих, а цена за комнату, как и следовало ожидать, поднялась.

– Туристский сезон теперь продолжается двенадцать месяцев в году. – С этими словами консьерж протянул Беддоузу ключ. – Никому не сидится дома. Все это очень утомительно.

Беддоуз поднялся наверх, попросил коридорного поставить пишущую машинку в чулан, потому что хотел на какое-то время от нее отдохнуть. Открыл окно, с удовольствием посмотрел на Сену, неспешно несущую свои воды мимо отеля. Принял ванну, переоделся и продиктовал женщине, сидевшей на коммутаторе, номер Кристины. У женщины на коммутаторе была отвратительная привычка повторять все цифры на английском, и Беддоуз с улыбкой отметил, что за время его отсутствия ничего не изменилось. В трубке слышался треск, пока на коммутаторе набирали номер Кристины. Телефон в ее отеле стоял в коридоре, так что Беддоузу пришлось произнести фамилию Кристины по буквам («Т» – от Теодор, «А» – от Андре, «Т» – от Теодор, «Е» – от Елены), прежде чем мужчина на другом конце провода все понял и пошел сказать Кристине, что ей звонил американский джентльмен.

Беддоуз услышал шаги Кристины в коридоре и подумал, что, судя по звукам, она в туфельках на высоком каблук.

– Алло. – Когда Кристина заговорила, в трубке послышался какой-то треск, но Беддоуз без труда узнал взволнованный, с придыханием голос. Кристина на каждый звонок отвечала так, словно ждала приглашения на вечеринку.

– Привет, Крис, – поздоровался Беддоуз.

– Кто это?

– Египетский гость.

– Уолтер! – радостно воскликнула Кристина. – Когда ты приехал?

– Только вошел. – Беддоуз решил не упоминать час, проведенный в номере, чтобы доставить ей удовольствие. – Ты на высоких каблукках?

– Что?

– Туфли у тебя с высокими каблукками, не так ли?

– Подожди, я посмотрю. – Пауза. – Ты в Каире стал экстрасенсом?

Беддоуз хохотнул:

– Обычный восточный трюк. У меня в рукаве их с дюжину. Куда мы идем на ленч?

– Уолтер! Я в отчаянии.

– У тебя свидание.

– Да. Когда ты научишься пользоваться телеграфом?

– Ничего страшного, – беззаботно ответил Беддоуз. Он дал себе зарок не подавать виду, что разочарован. У него сложилось впечатление, что, если бы он настоял, Кристина отменила бы свидание, но он также дал себе зарок ничего не выпрашивать. – Встретимся позже.

– Как насчет того, чтобы пропустить по стаканчику во второй половине дня? – спросила Кристина.

– С этого и начнем. В пять часов?

– Лучше в половине шестого.

– Где ты будешь? – Еще одна задержка заставила Беддоуза недовольно поморщиться.

– Около площади Звезды.

– Тогда «У Александра»?

– Отлично. Ты хоть раз придешь вовремя?

– Прояви снисхождение к мужчине, который первый день в городе.

– A tout a l'heure¹¹.

– Что вы сказали, мэм?

– В этом году здесь все говорят по-французски, – рассмеялась Кристина. – Как хорошо, что ты вернулся.

Послышался щелчок: она повесила трубку. Беддоуз медленно опустил трубку на рычаг и прошел к окну. Смотрел на реку и думал о том, что с давних пор Кристина приходила к нему по первому зову, как только он появлялся в Париже. От реки несло холодком, деревья стояли голые, небо, похоже, уже месяцы оставалось серым. И тем не менее город будоражил кровь. Даже в мрачную, лишенную солнца, бесснежную зиму Париж обещал радости жизни.

За ленчем компанию ему составил корреспондент Ассошиэйтед Пресс, недавно приехавший из Америки. Корреспондент говорил, будто жить в Америке совершенно невозможно: ленч в самой паршивой забегаловке стоит полтора доллара, и Беддоузу следует радоваться, что он уже давно не бывал на другой стороне Атлантического океана.

В кафе Беддоуз пришел чуть позже назначенного времени, но раньше Кристины. Он устроился на застекленной террасе, у огромного панорамного окна, чувствуя холодок зимнего дня. На террасе женщины пили чай, а мужчины читали вечерние газеты. За окном, под деревьями, формировалась маленькая колонна: ветераны какой-то части времен Первой мировой войны, мужчины средних лет, мерзнувшие в шинелях, при орденах, со знаменами, собирались в сопровождении духового оркестра строем пройти к Триумфальной арке и возложить венок в память товарищей по оружию, сложивших голову в сражениях, о которых уже никто не помнил.

Эти французы всегда найдут повод устроить уличную пробку, мрачно думал Беддоуз, потому что Кристина опаздывала, а день определенно не складывался. У них бесчисленное множество поводов помянуть павших.

Он заказал пиво, так как за ленчем слишком много выпил и слишком много съел, дорвавшись до вкусной еды, о которой в Египте мог только мечтать. В животе начиналась революция, да вдруг навалилась усталость: дали о себе знать многие мили, которые он преодолел за последние двадцать четыре часа. Если тебе больше тридцати пяти, меланхолично думал он, как бы плавно ни летел самолет, какой бы спокойной ни была атмосфера, каким бы мягким – кресло, организм все равно отсчитывает пройденные мили.

Тридцать пять Беддоузу стукнуло три месяца назад, и он начал задумываться о собственном возрасте. Частенько разглядывал в зеркале свое лицо, замечая морщинки у глаз и, когда брился, седину на щеках и подбородке. Где-то он слышал, что стареющие спортсмены брились по два, а то и три раза в день, чтобы менеджеры и спортивные журналисты не заметили в щетине белых кустиков. Может, думал он, и некоторым сотрудникам дипломатических служб пора последовать их примеру? Семьдесят минус тридцать пять равняется тридцати пяти. Это уравнение яснее ясного показывало, что половину жизни он уже отмерил. Беддоуз смотрел на переминающихся с ноги на ногу ветеранов, дыхание которых, смешиваясь с сигаретным дымом, маленькими облачками поднималось над их головами и развевающимися знаменами.

Он с нетерпением ждал Кристину. Обычно она не опаздывала, поскольку принадлежала к тому редкому типу девушек, которые появлялись в указанном месте в назначенный час. Почему-то он вспомнил, что и одевалась она с удивительной скоростью, а чтобы причесаться, ей требовались лишь одна-две минуты. Светлые волосы она стригла коротко, по парижской моде оставляя шею открытой. Беддоуз подумал о шее Кристины, и настроение у него сразу поднялось.

¹¹ Сейчас (фр.).

Они весело проведут этот вечер, решил он. В Париже не годится позволять себе чувствовать усталость и думать о возрасте. Если эти ощущения перейдут в разряд постоянных, сказал он себе, из Парижа придется уехать навсегда.

Беддоуз начал планировать предстоящий вечер. Они заглянут в некоторые бары, избегая друзей и не сильно налегая на спиртное, пойдут в бистро у рынка, где подают толстые стейки и густое красное вино, потом, возможно, сходят в ночной клуб, где показывают оригинальное кукольное шоу и трое молодых парней поют смешные песни, в отличие от многих ночных клубов действительно смешные. Во всяком случае, когда выходишь на улицу после их выступления, у тебя всегда прекрасное настроение и появляется уверенность в том, что в два часа ночи, в Париже, именно так и должен чувствовать себя человек.

Перед отъездом в Каир он привел Кристину именно в этот клуб. И мысль о том, что новый этап парижской жизни следует начать именно там, где закончился предыдущий, показалась ему очень оригинальной. Кристина выглядела великолепно, блистала в зале, где хватало симпатичных женщин, и он даже потанцевал с ней, впервые за несколько месяцев. Музыканты, пианист и гитарист, играли популярные французские мелодии, в полной мере позволяющие ощутить, как сладка любовь в этом городе и как печальна даже недолгая разлука с ним.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.